Дни императора Павла.

Записки курляндскаго дворянина.

(съ нѣмецкаго).

Изданіе О. И. Булгакова.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія вдов. Г. А. Бернштейна, 3-я Рождественская, 7 в.
1907.

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В 1886 г. в Лейпциге появилась книга, изданная без обозначения имени автора и носившая заглавие: «Aus den Tagen Kaiser Pauls». Близким знакомством с двором, живым изложением, наконец, обилием мелких подробностей, иногда дающих событиям кратковременного царствования Павла совершенно новое освещение, книга эта привлекла к себе внимание историков-специалистов. Но для обыкновенного читателя она была до последнего времени совершенно недоступна. Содержа рассказ о последних часах императора Павла, она, конечно, подверглась запрещению в России. Перевести ее до 17 октября 1906 года было немыслимо, а ссылаться на нее можно было глухо, безыменно.

Теперь мы имеем возможность предложить вниманию читателя любопытные записки с незначительными сокращениями, касающимися некоторых мелких и неинтересных подробностей. Можем и снять таинственную завесу с их автора и назовем его настоящим именем. Это — барон Карл Генрих Гейкинг.

Издание 1907 года, приведено к современной орфографии.

- Карл Генрих Гейкинг
  - Предисловие к русскому изданию
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18

Карл Генрих Гейкинг
Дни императора Павла
Записки курляндского дворянина

Предисловие к русскому изданию

В 1886 г. в Лейпциге появилась книга, изданная без обозначения имени автора и носившая заглавие: «Aus den Tagen Kaiser Pauls». Близким знакомством с двором, живым изложением, наконец, обилием мелких подробностей, иногда дающих событиям кратковременного царствования Павла совершенно новое освещение, книга эта привлекла к себе внимание историков-специалистов. Но для обыкновенного читателя она была до последнего времени совершенно недоступна. Содержа рассказ о последних часах императора Павла, она, конечно, подверглась запрещению в России. Перевести ее до 17 октября прошлого года было немыслимо, а ссылаться на нее можно было глухо, безыменно.

Теперь мы имеем возможность предложить вниманию читателя любопытные записки с незначительными сокращениями, касающимися некоторых мелких и неинтересных подробностей. Можем и снять таинственную завесу с их автора и назовем его настоящим именем. Это — барон Карл Генрих Гейкинг.

Курляндский дворянин по рождению, барон Карл Генрих Гейкинг воспитывался в Варшаве. Здесь же поступил он и в военную службу в качестве офицера польской армии. В Варшаве положение его было довольно трудное. С одной стороны запутанные дела его отца сильно стесняли его в материальном смысле, а с другой и потому, что Россия, получившая уже значительное влияние на польские и курляндские дела, нашла нужным удалить из Курляндии герцога Карла (сына польского короля Августа III), которому Гейкинг был безгранично предан. Наш автор тотчас же вышел в отставку и последовал за Карлом в Саксонию. В Тешене он принимал участие в совещаниях тайной польской конфедерации в качестве негласного депутата герцога Карла. Затем мы застаем Гейкинга на службе у брата Карла, герцога Трирского, но тут он оставался недолго. После пятилетнего отсутствия он снова вернулся в Варшаву и поступил в военную службу. В 1777 г. он перевелся в русскую армию, но вскоре перешел в гражданскую службу. Дальнейшую карьеру его читатель узнает из предлагаемого перевода.

В 1897 г. в Берлине вышло еще одно извлечение из мемуаров Гейкинга, занимающих в подлиннике, написанном на французском языке, четыре рукописных тома, под заглавием «Из последних дней Польши и Курляндии». Сокращенный перевод этой книги был напечатан А. Тирсом в «Русской Старине» за 1897 г.

Глава I
На высоте фавора

Известие о неожиданной кончине императрицы Екатерины II пришло прежде всего к генерал-губернатору Палену, когда мы сидели у него за столом. Он изменился в лице, прервал разговор и ушел к себе в кабинет. Скоро однако он возвратился, занял свое место и пытался казаться спокойным. Но, не смотря на все его усилия, видно было, что он взволнован и встревожен.

После обеда он тотчас же удалился к себе. Вечером его уже не видно было в кружке его жены. Только на третий день событие это несколько подтвердилось: к эстляндскому, лифляндскому и литовскому генерал-губернатору князю Репнину прибыл курьер. Пален отвел меня в сторону и сообщил мне эту величайшую новость под секретом, так как прямых известий ни от императора, ни от сената он еще не получал.

Смерть императрицы, которая должна была вызвать во всей империи огромные перемены, сильно взволновала меня и хотя у меня и были основания ожидать для себя милостей, которые император оказывал мне еще в бытность великим князем, но, откровенно говоря, смерть великой государыни меня огорчила. Это удивило Палена.

— Вы должны быть от этого в восторге, — сказал он, — я знаю, как вас любил великий князь, и уверен, что, став императором, он вам это докажет.

— Государь, правда, в течение двух лет отличал меня самым лестным образом, но, теперь осажденный со всех сторон делами, он и не вспомнит обо мне. У меня нет на его внимание ни права, ни охоты.

Наконец из Риги пришла эстафета с циркуляром, в котором извещалось о восшествии на престол Павла I и приказывалось приносить обычную присягу на верность.

Дня через два вечером, только что мы собрались у генерала Палена на партию в бостон, как мне принесли с почты письмо за императорской печатью и вызвали меня лично. Я попросил позволения прервать на минутку бостон, чтобы прочесть письмо. Оно было от моей тещи Де-Ла-Фон (начальницы петербургского Смольного института) и гласило: «Наш несравнимый Император назначил свою супругу шефом нашего института и Ее Величество прибыла к нам сама, чтобы сообщить об этом приказе. По этому случаю я назначена dame d'honneur и получила от обожаемой государыни ее портрет. Я слишком еще взволнована, чтобы

писать вам более, мои дорогие дети. Императрица завершила свою милость тем, что соизволила сама позаботиться, чтобы вы как можно скорее получили это письмо».

Прочитав это письмо, моя жена сказала генеральше Пален: «Зная участие, которое вы в нас принимаете, позволю себе удовольствие сообщить вам, что нам пишет моя мать». Все подвинулись ближе, чтобы получше слышать, и можно было уловить различные впечатления, которые волновали присутствующих.

Хотя милости, оказанные моей матери, и сами по себе возбуждали низкую зависть, но как разгорелась она, когда генерал-губернатор получил указ, который освобождал меня от арендной платы за Брандесбург и признал за моей женой право собственности на это имение!

Такие знаки благоволения, государя обязывали нас к всеподданнейшему выражению благодарности. Но мое положение председателя суда связывало меня. Поэтому моя жена взялась отправиться в Петербург и там повергнуть к подножию нашего высокого благодетеля нашу глубочайшую благодарность. За это время я намеревался переменить квартиру, рассчитывая приготовить моей жене сюрприз. Я уже стал приготовляться к переезду, как вдруг генерал Пален вызвал меня к себе с места моей службы, чтобы сообщить мне нечто очень важное.

— Видите ли, — воскликнул он, — обнимая меня, случилось то, что я вам и предсказывал. Император приказал вам прибыть в Петербург. Вот указ, изготовленный генерал-прокурором князем Куракиным.

Указ гласил: «Вы должны сообщить статскому советнику и председателю суда барону повеление Е.И.В. безотлагательно прибыть в Петербург».

Лестная перспектива скорее потрясла, чем оживила меня.

Я вернулся назад в суд, чтобы объявить там об указе императора и приказал секретарю изготовить список оконченных и еще находящихся в производстве дел, с указанием причин, по которым задержался приговор. К счастию, я пользовался уважением всех чинов суда. Они откровенно сожалели, что мне приходится уезжать, и уверяли меня, что я получу место в Петербурге…

16 Декабря я тронулся в путь и 20 был уже на месте. Между Дерптом и Ригой встретились мы с несколькими поляками, которым император возвратил свободу. Между ними был и знаменитый сапожник Килинский.

Было уже около 7 часов вечера, когда я явился с докладом к Е.В. Я нашел во дворце большие перемены[1]; не останавливаясь я

прошел во внутренние покои, где находились дежурные камергеры. Здесь с изумленным лицом меня начали спрашивать, что мне угодно. «Е.В. изволил вытребовать меня в Петербург, и я явился для доклада».

Пройдя несколько раз туда и сюда, явился наконец генерал-адъютант граф Растопчин, спросил мое имя, чин и осведомился о цели моего прибытия. На два первые вопросы я отвечал отчетливо, но затем прибавил: Что касается причин, то они мне неизвестны, ибо государь не поставил меня в них в известность. Вот мой паспорт. Вы изволите здесь усмотреть приказание Его Величества».

Он отправился к императору и вернувшись через несколько минут, сказал; «Его Величество уполномочил меня передать вам, барон, что он очень рад вашему прибытию. Государь через генерал-прокурора назначил вам час, в который завтра утром вы можете его видеть».

Я поспешил в Смольный к своей жене, где нашел около нее всех ее подруг. Мы уже позавтракали, когда из дворца прибыла фрейлина Нелидова. Она самым любезным образом выразила свою радость, видя меня у нашей, bonne mama».

Это было прозвище, которым все питомицы института продолжали именовать мою тещу и по своем выходе из института. Она поцеловала «маме» руку и сказала:

— Их Величества поручили мне поздравить вас с радостным для вас приездом барона. Император примет его завтра утром. Будет не худо, прибавила она, обращаясь ко мне, если вы пораньше зайдете к генерал-прокурору — только до 8 часов, добавила она с улыбкой.

— Да, сказал кто-то из присутствующих, в Петербурге все переменилось. Теперь встают рано и в 11 часов все расходятся по домам.

До 8 часов я был уже у князя. Его приемная была уже полна. Я приказал доложить о себе и через несколько минут входил уже в кабинет.

Князь Алексей Куракин — красивый мужчина. Живые глаза, большие черные красиво расположенные брови придавали бы ему суровый вид, если бы это впечатление не смягчалось подкупающими манерами и вежливостью.

Придя в кабинет, я передал ему рекомендательное письмо от Палена.

— Вам барон это письмо совершенно не нужно. Император много говорил о вас сам. Он приказал мне сегодня вечером доставить вас ко двору и представить Их Величествам. Это дает вам право присутствовать на малых выходах и кушать вместе с

императором. К этой милости государь присоединяет и другую: он предоставляет вам право свободного выбора более крупного поста, чем тот, который вы теперь занимаете.

— Я слишком глубоко тронут милостями Е.В., чтобы выразить вам, князь, всю мою признательность. Моя жизнь и деятельность принадлежат моему государю. Пусть он решит мою судьбу.

— Но ведь император приказал вам сделать выбор. Я не смею дать ему неопределенный ответ. Он этого не любит.

— Если уж можно мне объясниться, возразил я, немного подумав, то не стану скрывать от вас, князь, что дипломатическое поприще я предпочитаю всякому другому. Если не ошибаюсь, место в Неаполе свободно.

— Кажется, на него кто-то уже назначен. Полагаю, что император намерен удержать вас при себе в столице.

— Как ни лестно такое намерение, но при дворе я не мог бы занять ни одной должности. У меня нет ни средств, ни здоровья, чтобы держатся там с подобающим блеском. Я занимался общественным и гражданским правом и только в одной должности такого рода мог бы оправдать ожидания нашего возвышенного государя.

Тут я неожиданно вспомнил о назначении фон-дер-Ховена сенатором, остановился на этой идее и дал понять генерал-прокурору, что это было бы единственное, чем я мог бы соблазниться, в случае, если придется остаться в Петербурге.

Не пускаясь в разговор, князь отвечал: «Благоволите сегодня в $7^1/_2$ часов вечера прибыть ко двору. Я вас представлю Е.В., если вы не предпочтете, чтобы я вас сопровождал».

Я принял предложение, сделал несколько визитов, стараясь разобраться в этом мире, где в пять недель переменилось все.

Вечером во внутренних покоях я встретил очень мало лиц и мое появление заметно произвело сенсацию. Понять не могли, каким образом провинциал получил право присутствовать на малых выходах, не будучи зачислен в третий класс или прямо в придворное звание.

Князь Репнин перед этим смотрел на меня сверху вниз. Теперь он, поговорив сначала с генерал-прокурором, направился прямо ко мне и наговорил всяческих любезностей. Я отвечал вежливо, но довольно сухо. Он становился все любезнее и после нескольких банальных фраз спросил дружеским тоном:

— Позвольте барон, узнать, почему император призвал вас?

— Не знаю, право, князь, через полчаса это, вероятно, будет известно.

Граф Николай Румянцев, всегда отмечавший меня,

приближался дружески ко мне, как появился мой старинный знакомый граф Вельегорский, которого я не застал дома, чтобы в качестве гофмаршала доложить императору список тех, кто желает остаться на обед. Наша встреча вышла самой сердечной. Почти вслед за этим из кабинета вышел князь Куракин. «Пойдемте к Их Величествам, — сказал он мне. — Вы должны преклонить колена и поцеловать руку сначала у императора, затем у императрицы».

В глубочайшем молчании и более чем с почтительным выражением лица вступили мы в зал, где была вся вкупе императорская семья. Император находился недалеко от двери, через которую мы вошли. Каждый делал глубокий поклон и отходил влево, чтобы дать место следующему. Войдя со мною, князь Куракин отвесил низкий поклон и назвал меня. Я опустился на колени, чтобы поцеловать руку императора, но он быстро поднял меня, обнял как обыкновенно, и только что я хотел поблагодарить его, сказал: «За что вам меня благодарить? Я еще ничего для вас не сделал, — прибавил он, взяв меня за руку. — Теперь я вас удержу и вы от меня не ускользнете».

Эти громко произнесенные слова возвестили всему двору о чувствах ко мне императора. Я подошел к императрице. Когда я поцеловал ей руку, она сказала приветливо: «Не находите ли вы, что наша добрая мамаша Де-ла-Фон помолодела?»

«Вашему Величеству чудесным образом предопределено оживлять людей и возвращать им молодость».

«В самом деле, — продолжала императрица, — ей было очень плохо».

«Во всех отношениях», добавил я вполголоса.

Императрица улыбнулась и довольно подробно стала говорить об институте. Между тем император обменивался словами то с тем, то с другим. Императрица села за бостон с князем Репниным, вице-канцлером Куракиным и графом Николаем Румянцевым. Она сидела на софе, по правую руку от нее находился император, рядом с ним на кресле сидел великий князь Александр, немного далее наследник Константин, а затем все остальные по рангу. Взрослые княжны были по другую сторону матери, с г-жей фон-Ливен вокруг круглого стола, занимаясь разным рукоделием.

Император один вел беседы: ему отвечали просто или сообщали подробности того, о чем он спрашивал. Но разговор вращался на довольно безразличных вещах.

Из иностранцев на этот вечер получили доступ лишь гр. Дитрихштейн и Брюло, командированные Венским и Берлинским дворами для принесения поздравлений, шведский генерал

Клингспортен и некий граф Штольберг. Ни один иностранный посол не имел доступа к этому маленькому кружку.

Усевшись на места, все старались не двигаться, и это натянутое состояние было прервано лишь возгласом, что обед готов. Стол был накрыт приборов на двадцать: на 9 членов императорской семьи и дежурных придворных, 2–3 иностранца и 5–6 лиц, имевших право присутствовать на малых выходах.

После стола все вышли в соседнюю комнату, где император еще раз сказал с каждым несколько слов. Затем он приблизился ко мне с тем обаятельным выражением лица, которое так противоречило всей его внешности, когда он бывал в раздражении, и очень любезно заговорил со мною. Я остался совершенно очарованным им. Каждый старался оказать мне какую-нибудь любезность. Вы, которые хорошо знали Павла за два первые годы его царствования, скажите, разве не было у него чувствительного сердца, благожелательства, просвещенной души? Если он бывал несправедлив, то разве это не вытекало из его слишком сильной любви к правосудию, и разве всегда, когда у него слагалось убеждение, что он ошибся, не выказывал он мужества, исправить эту ошибку? Но низкие льстецы, люди, которые живут на счет правды, испортили эти добрые задатки и мало-помалу заглушили зерно его добродетелей, потворствуя ему во всех пороках.

В воскресенье 26 декабря только что я хотел отправиться к генерал-прокурору, как получил от него письмо: «Князь Куракин имеет честь довести до сведения барона, что государь император только что подписал указ, которым он производился в тайные советники и назначается сенатором. Князь советует явиться сегодня утром ко двору поблагодарить Его Величество, что нужно сделать по указаниям дежурных камергеров».

Можно представить себе радость мою и моей жены, которая теперь на всегда была неразлучна с своей обожаемой матерью. Мы поспешили к ней, чтобы поделиться с нею этой новостью. Та заплакала от радости при мысли, что теперь она может умереть в кругу своих детей. Весь институт принял участие в этой царской милости, которая произвела тем большее впечатление, что явилась внезапно, и при повышении я должен был перескочить через один чин.

Прежде чем явиться ко двору, я счел долгом засвидетельствовать свое почтение князю. Сознаюсь, что я почувствовал к нему искреннюю симпатию, независимо от его высокого служебного положения. Он показал мне указ. Увидев, что я назначен в 1 Департамент, тогда как Курляндские дела находились в ведении 8 Департамента, я сказал об этом князю, но

тот дал мне почувствовать неудобство изменять высочайший указ. Побежденный моими доводами, он посоветовал мне безотлагательно написать ему официальное письмо. Я так сделал, и на следующий день Е.В. перевел меня в 3 Департамент. Я принес государю благодарность перед всем двором. Когда мы шли, генерал-прокурор посоветовал мне явиться к высочайшему столу, так как весьма возможно, что император захочет о чем-нибудь со мною побеседовать.

Я принял этот совет. Когда мы вошли, император приблизился ко мне, и оставив все общество, сделал мне знак следовать за ним. «Скажите откровенно, спросил он, как идут дела в Курляндии?» «Смею уверить, В.В., что в России не много найдется губерний, где был бы такой порядок и быстрота в разрешении дел!»

— А как Пален? Им довольны? — продолжал государь, пристально глядя на меня.

— Да, В.В., им все довольны.

— Говорите по чистой совести, я ожидаю от вас только правды.

— Я никогда не скрывал бы ее от моего государя, если бы даже глубочайшая признательность не вменяла мне это в обязанность. Осмелюсь повторить, В.В., что значительное большинство жителей довольны.

Чрезвычайно подвижные черты императора выдавали, что он не совсем удовлетворен моим ответом.

— У вас там есть один поляк Гурко, — продолжал государь. — Что это за человек.

— Вице-губернатор Гурко очень усерден к службе и не без способностей.

— Он пригодится добрейшему графу Ламсдорфу (губернатору). Я его знаю, он человек почтенный.

Через день после этого, когда я сидел за обедом у своей тещи, мне подали следующее письмо генерал-прокурора: «Барон! Е.В. приказал учредить при сенате комиссию и Издал указ, назначающий ваше превосходительство ее членом. Заседание назначено сегодня в 6 часов пополудни в 1 Департаменте сената. Я буду иметь честь доложить собранию дело, которое сегодня должно слушаться» и т. д.

Новый знак монаршего доверия сильно тронул меня. В 5 часов я отправился в сенат, где нашел только старика Соймонова, дядю сенатора 3 Департамента и Завадовского, которые чрезвычайно удивились, видя меня в комиссии величайшей важности, когда еще даже не был опубликован указ о моем назначении в сенат. День был праздничный и потому очередного

заседания сената не было.

Наконец собрались все члены. В некотором отдалении были поставлены сторожа, чтобы ни чиновники, ни другие лица не могли слышать доклад о делах, порученных секретной комиссии. Генерал-прокурор сам прочел указ, которым учреждалась наша комиссия и прибавил: «Так как его превосходительство сенатор барон Гейкинг уже принес присягу, как статский советник и председатель суда, то Е.В. нашел, что он имеет право принять участие в заседании, не возобновляя присяги, которая от него требуется только как от тайного советника, а не как от судьи».

Затем он очень толково изложил комиссии донос майора И. на вице-адмирала Мордвинова[2]. Пригласили статского советника Макарова и г. Фукса, секретаря секретной комиссии. Первый доложил о словесных показаниях, сделанных майором И., и предъявил все относящиеся к делу бумаги. Второй прочел документы. Комиссия распорядилась ввести подавшего донос, который повторил почти тоже самое, что было подробно изложено им письменно.

Членами комиссии были: сенатор гр. Сиверс, прежний посланник в Польше, честность которого пользовалась большой известностью, граф Завадовский, старик Соймонов, Васильев, Тарбеев, генерал-губернатор Архаров, генерал-прокурор и я.

Этот Архаров, которого императрица не задолго до своей смерти перевела из Москвы, где он был обер-полицмейстером, пользовался репутацией знатока по делам высшей полиции. Энергичный, вкрадчивый, с открытой физиономией, с поддельной откровенностью, он вышел из среды придворных лакеев и пользовался покровительством множества глупцов и шутов, которые во всех классах общества составляют большинство и превозносят всякого, кто бывает в силе. Таков был петербургский генерал — губернатор, входивший по своей должности в прямое соприкосновение с государем, которому он искусно мог внушать беспокойство при помощи имевшихся в его распоряжении полицейских средств, затем уничтожать его сообразно своим видам и таким образом сделаться важной особой.

Заседание продолжалось до 11 часов ночи. На другой день я вступил в сенат, принял присягу и занял место рядом с фон-дер-Ховеном, назначение которого сперва было для меня загадкой, так как мне было известно, что император еще в бытность великим князем, составил себе о нем очень дурное мнение. Наконец ключ к этой загадке был найден. Среди бумаг императрицы нашелся список лиц, которые должны были получить к новому году повышение. Император счел своим долгом исполнить волю матери и вот фон-дер-Ховен попал в

сенат. Но император никогда не вступал с ним в разговор и вообще не показывал ему знаков личного внимания.

Старшим в 3 Департаменте был гр. Строганов, известный своей любезностью и за границей, человек проницательный и благородного образа мыслей, страстный любитель искусства, обладавший значительным состоянием. Но при всех этих качествах ему недоставало силы и энергии. Его приговор всегда был не решительный, хотя в погоне за удовольствиями, развлечениями и вследствие лежавших на нем придворных обязанностей ему не оставалось времени думать и углубляться.

Благодаря этому недостатку, который он, вероятно, и сам чувствовал, в 3 Департаменте приобрел влияние младший Соймонов, ставший здесь своего рода диктатором. Дряхлый Стрекалов, беспечный Пастухов и добрейший гр. Миних были в полном смысле нулями и не имели своего мнения. Шталмейстер Ребиндерт попал в сенат неизвестно зачем. Хотя ему недоставало образования, но, по крайней мере, у него был здравый природный ум и характер, благодаря чему он умел заставить себя уважать. Граф Потоцкий, не смотря на чувства человека высокого положения, страдал отсутствием связи в своих мыслях. Удивительно было еще то, что Голохвастов, повышенный из обер-прокуроров в сенаторы, был совершенно лишен логики. Когда ему по выслушании дела предстояло дать заключение, он путался, терял исходную точку, цеплялся за какое-нибудь формальное упущение и не мог вернуться к поставленному вопросу, чтобы формулировать решение. О ф.-д. Ховене я не говорю: его ум и знание известны из истории Курляндии.

В возмещение всего этого, наш первый прокурор Козодавлев был как раз на своем месте. Он учился в Лейпциге, знал языки французский и немецкий, понимал немного по-латыни и превосходно владел своим родным языком. При всем этом он был вежлив, выслушивал все мнения без предубеждения и старался привести всех к соглашению, анализируя без оскорбления чьего-либо самолюбия все точки зрения. К довершению всего, он был тонким придворным.

В 12 часов все департаменты собирались в большом зале, где происходили открытые заседания. Здесь у верхнего конца стола стояло под роскошной сенью кресло государя, который считался председателем сената. По обе стороны стола стояли кресла малинового бархата с золотой бахромой, на которых сидели сенаторы по старшинству в чине тайного советника. Обивка залы была такая же. Генерал-прокурор сидел за небольшим отдельным столом, а для прокуроров ставились четыре стула, на случай, если он их позовет.

Здесь я должен упомянуть об одном факте, в котором обнаруживается желание императора ускорить ход правосудия в интересах его подданных. Услыхав, к своему удивлению и неудовольствию, что в сенате скопилось около 10 тысяч нерешенных дел, он назначил временной сенат для окончания старых процессов и таким образом облегчил рассмотрение новых дел. Для этого он пожертвовал более 100 тысяч рублей. Хотя это и было важно для счастья его народа, но никто не признал этого акта доброты и справедливости[3].

Гофмаршал гр. Вельегорский предложил мне обедать за высочайшим столом два раза в неделю. В среду по окончании заседания тайной комиссии, которое продолжалось только полтора часа, я был во дворце. В зале уже было несколько лиц. С удовольствием заметил я гр. Штакельберга, бывшего прежде послом в Польше. Я выразил ему свою радость, но он показался мне печальным и угнетенным. Я осведомился, что могло его до такой степени расстроить, и узнал, что император с ним холоден, что он не предоставил ему даже право присутствовать на малых выходах, которое у него было при императрице. Эта немилость мучила меня. Я опять подошел к нему, чтобы удвоить свою внимательность к нему, и он пригласил меня к себе поболтать часок-другой. В это время дали знак входить.

Как только государь меня увидел, он сейчас же отвел меня в угол.

— Что вы думаете по поводу доноса майора И.?

— Государь, мы успели выслушать пока одного обвинителя. Но так, по первому впечатлению, кажется, что донос ложный.

— Почему?

— В датах оказываются противоречия, рассказы страдают преувеличениями. И если мне будет позволено заранее высказать мое мнение, я могу уверенно сказать, что вице-адмирал невиновен.

— Вы с ним, конечно, не знакомы?

— Простите, В.В., я его никогда не видал.

— Между тем… — сказал император и перешел к некоторым подробностям доноса.

Я решился опровергнуть их простыми соображениями и отвечал: «Может быть, обвиняемый еще укажет на те или другие побудительные причины. Необходимо выслушать его самого».

Я был поражен, как справедливо и человечно судил об этом деле император. «Видите ли, — сказал он между прочим, — такое же хорошее мнение составилось и у генерал-прокурора. Но я не хочу, чтобы он один решал дело, которое касается жизни или чести одного из моих подданных. Я тщательно подобрал членов

комиссии и, — прибавил он, повышая голос, — я спокоен, видя вас среди них».

Я никогда не осмелился бы повторить эту фразу, в которой было столько преувеличения, если бы гр. Шуазель-Гуффрие, гр. Николай Румянцев и кн. Александр Куракин не сознались потом, что они ее слышали. Первый по этому случаю сделал мне самый любезный комплимент. Впоследствии, когда, неизвестно почему, мы очутились в ссылке, эта фраза неоднократно приходила нам на память.

После стола государь спросил меня:

— Будут ли ваши земляки рады восстановлению их прежних учреждений?

— Они с восторгом примут эту милость, В.В. Их сердце лежит к прежним учреждениям, если даже разумом они и будут осуждать некоторые злоупотребления в них.

— Чтобы удовлетворить сердечную склонность курляндцев, вы можете оповестить их, что я возвращаю им прежние судебные установления. Возвратить им самое Курляндию я теперь уже не могу, — сказал государь с улыбкой. — Я ни у кого ничего не возьму, но хочу знать, что есть у меня самого.

Легко угадать мой ответ. Я имел счастье дать ему такой оборот, что по лицу императора я прочел его лестное действие.

Удивительно, что этот государь, перед которым все трепетали, никогда не внушал мне страха. Потому ли, что его обращение со мной с самого начала устранило всякое чувство стеснения, или потому, что откровенно выраженная мною любовь к нему внушила мне некоторую уверенность в себе — все равно, я могу удостоверить, что всякий мой ответ шел от сердца и может быть поэтому вызывал согласие со мною монарха.

Когда государь объявил мне о восстановлении наших старых судебных учреждений, мне стало ясно, что необходимо уничтожить монополию восьми курляндских адвокатов, которой они пользовались вопреки законам и во вред публике. На другой день я написал генерал-прокурору официальное и подробно мотивированное письмо, которое он доложил Е.В. 10 января я был чрезвычайно удивлен, прочитав в сенате именной указ, отменявший ограничение числа адвокатов (8) и разрешавший так называемым помощникам адвокатов вести дела во всех учреждениях края. Сенатор Ховен, ревностный защитник адвокатов, был изумлен, что в указе говорится об адвокатах и Курляндии, не зная, в чем собственно было дело.

— Что там такое, — спросил он меня.

— Выслушаем, и тогда я вам скажу, в чем дело, — и сделал вид, что прислушиваюсь к чтению, как будто дело шло о

совершенно неизвестном мне деле. «Принесем через генерал-прокурора благодарность Е.В. за этот патриотический указ, уничтожающий в Курляндии монополию на отправление правосудия». Он весь побледнел, но тем не менее подошел к князю и сказал: «Всякий знак внимания государя к нам преисполняет нас признательностью!» «Особенно этот, — подхватил я, ибо он наносит смертельный ударь гидре кляузничества».

Е.В. приказал мне работать вместе с генерал-прокурором над реорганизацией прежних учреждений в Курляндии. Я просил князя привлечь к этому делу Ховена, чтобы все, у кого был повод плакаться на это, не обрушились на одного меня. И действительно Ховен был привлечен к работе, а Тихомиров, которому я доставил место в канцелярии генерал-губернатора, был сделан делопроизводителем.

Посетили бывшего посла гр. Штакельберга. Он жаловался на отношение двора, которое он испытывает после 25-тилетней службы. «Государь гневается на меня за то, что я был в сношениях с Зубовым. Но ведь князь пользовался полнейшим доверием императрицы, а разве можно было вести дела, не сблизившись с тем, у кого была ее душа? Я хотел бы рассеять несправедливое обо мне мнение, и это могла бы сделать только одна Нелидова. Сделайте милость поговорите об этом с этим ангелом кротости и доброты».

Я не стал скрывать от графа трудностей склонить Нелидову вмешаться в дело, которое совершенно ее не касалось. Но все-таки я обещал исполнить его желание и сдержал свое слово. Нелидова наотрез отказалась от такого поручения, а генерал Б., с которым я говорил по этому поводу, дал мне понять, что государь не может простить Штакельбергу пресмыкательства, с которым тот ухаживал за фаворитом. «Не будь этого, добавил он, гр. Штакельберг был бы назначен вице-канцлером».

Тот был в отчаянии от отказа Нелидовой, как ни старался я его утешить, и сообщил мне по секрету о другой попытке, которую он хочет сделать у государя. Я заранее видел ее бесплодность и она вызвала только quasi-совет графу «ехать в свое имение отдохнуть от усталости, которую он нажил себе в передней кн. Зубова». Бедного экс-посланника едва не хватил удар, и он серьезно заболел. Я отправился утешит его, ибо его болезнь была просто отчаянием придворного, который принужден сойти со сцены, на которую не вступил бы человек честный и с более твердым характером.

— С каким удовольствием я поменялся бы с вами местами, граф! — сказал я.

— Вы, конечно, шутите.

— Нет, честное слово. Только от вас зависит воздвигнуть себе более прочный памятник, чем эта незначительная слава, которой вы могли бы добиться при дворе. Ваша репутация, как дипломата, известна всей Европе. Будьте русским Тацитом и пишите у себя в имении ваши мемуары о бессмертной Екатерине.

Из скромности ли, или из боязни, а, может быть, и по лени граф не принял моего совета[4].

Через день я был при дворе. После стола государь отвел меня в сторону, взглянул на меня пристальным, свойственным ему в некоторые моменты, взглядом и сказал:

— Вы, конечно, знакомы с гр. Потоцким (Игнатием)?

— Да, В.В., я его знаю более десяти лет. Он человек умный, знающий и любезный в обществе. (Я особенно подчеркнул последнее обстоятельство, зная, как много значения государь придает любезности).

— Но, говорят, он опасен?

— При просвещенном, твердом, благодетельном и справедливом правлении никто, В.В., не опасен.

— Надеюсь, продолжал государь довольным тоном, что господа поляки довольны мною. A propos! Прибыл вице-адмирал Мордвинов. Посмотрим, как он будет защищать себя.

— Это очень легко, В.В.

— Я тоже этого желаю, но, прибавил он с строгим выражением лица, надеюсь, что все дело будет разобрано до малейших подробностей.

Я ответил низким поклоном.

Внезапные перемены, во введенных Екатериною генерал-губернаторствах, произведенные государем по всей империи, вызвали бы повсюду путаницу, если бы чрезвычайная поспешность, с которою дни и ночи работал генерал-прокурор, не устраняла вредных последствий этой дезорганизации.

Генерал Пален потерял место курляндского генерал-губернатора и должен был довольствоваться командованием кирасирским полком в Риге. Замешательство, которое всегда бывает при таких переменах, выпало на долю губернатора гр. Ламсдорфа.

Император приказан генерал-прокурору спрашивать моего письменного совета при всех необходимых распоряжениях.

Пока я должен был отвечать на вопросы государя, комиссия по поводу вице-адмирала Мордвинова продолжала свои занятия. Майор И. пытался запутать дело и довольно грубо потребовал допроса нового свидетеля, чтобы выиграть время. Я позондировал судей, и только Архаров показался мне не совсем надежным. Он

пытался добиться признания адмирала виновным в небрежности и легкомысленном злоупотреблении в служебных делах.

Наконец прибыл и обвиняемый. Но нежелание быть обвиненным по доносу такого субъекта, как И. — было в нем так сильно, что в его объяснениях не было откровенности и ясности, которые были необходимы, чтобы победоносно опровергнуть злые и искусно придуманные обвинения. Его тон всем почти не понравился и, когда он удалился, все стали его бранить. Я взял смелость его защищать, чувствуя, что я и сам впал бы в ту же ошибку, если б меня принудили состязаться с таким презренным существом, как майор И. Было постановлено, чтобы вице-адмирал дал письменный ответ по пунктам и дали ему на это восемь дней сроку. Его ответы были неопределенны, запутаны и требовали личной ставки с майором. Я чувствовал, что дело все более и более запутывается, и решил свести главные обвинения к восьми пунктам, на которые Мордвинов должен быть отвечать просто, и таким образом положить конец процессу, который, в случае новых осложнений, запутал бы множество ни в чем неповинных лиц. Я работал до поздней ночи и, так как процесс велся секретно, мне пришлось самому переписать составленный мною акт, который я тотчас же и послал, сказав генерал-прокурору, что вследствие сильного утомления не могу быть на заседании.

Комиссия приняла восемь обвинительных пунктов, переслала их для возражений вице-адмиралу и дня через два получила их обратно. Я присутствовал на решающем заседании. Майор И. был изобличен в ложном доносе. Он все ссылался на показания свидетелей и кончил сознанием, что он все это выдумал, чтобы отомстить вице-адмиралу за то, что тот уволил его от должности за растрату нескольких сот рублей из вверенной ему кассы. Я был счастлив, что невиновность Мордвинова была доказана, с одной стороны потому, что он казался мне человеком честным, а с другой и потому, что с самого начала я усвоил себе такую точку зрения на это дело. Архаров стал настаивать на необходимости вставить во всеподданнейший доклад замечание, что вице-адмирал заслуживает порицания за злоупотребления по службе и за нарушение формальностей, а майор И. за свое сознание заслуживает смягчения законной кары.

Я горячо выступил против выражения «заслуживает порицания» и настаивал на смертной казни за ложный донос.

— Всякая снисходительность, говорил я, будет в этом случае преступлением, если иметь в виду хладнокровно обдуманную кляузу, имевшую целью опозорить и подвести под жестокое наказание честного человека, посеять около трона подозрительность и встревожить сердце монарха. И кто из нас

может считать себя в безопасности от такого же гнусного и опасного доноса?

Я закончил речь указанием на статьи закона о ложных доносчиках и дал понять, как несправедливо выражение «заслуживает порицания» относительно заслуженного человека, который по своему поведению более чем невиноват.

Архаров и еще двое настаивали на помещении этих слов, остальные примкнули к моему мнению. Васильев и гр. Завадовский поддерживали меня открыто. В конце концов я решился формулировать в двух строках все, на чем вертелся вопрос, и испросил разрешение прочесть их. Все согласились и дело было навсегда покончено.

В ближайший день я видел государя, который беседовал со мною с безграничной добротой и наговорил мне много лестного о том, что с первых же шагов я сумел так правильно разрешить дело. Вице-адмиралу была дана отдельная аудиенция. Государь обнял его, поручил ему управление Одессой и подарил ему бриллиантовую табакерку с своим портретом. Так поступал Павел в начале своего царствования с теми, кому приходилось пострадать невинно[5].

При восстановлении прежних судебных учреждений в Лифляндии и Курляндии предстояло возвратить в учрежденную Петром I юстиц-коллегию часть дел, которые в апелляционном порядке дошли до сената. Вследствие установленного Екатериной порядка инстанций за этой коллегией осталось решение дел по расторжению браков лютеран, кальвинистов и католиков. Она была в таком пренебрежении, что 15 лет оставалась без председателя, ибо Симонич, получивший пост министра-резидента сначала в Лондоне, а затем в Париже, не показывал в нее и носа[6], а вице-президентов избирали из юристов, которые были совершенно неизвестны двору. Недовольный таким пренебрежением, Павел пожелал поставить эту коллегию на один уровень с другими коллегиями империи, куда председателями назначались сенаторы[7]. Вследствие этого кн. Куракин спросил меня однажды в сенате, не пожелаю ли я взять на себя обязанности председателя Лифляндской и Эстляндской юстиц-коллегии. «Император, прибавил он, желает вернуть этому высшему судебному учреждению подобающее ему достоинство и считал бы вашу добровольно усиленную работу за новое доказательство вашего усердия».

— Воля государя для меня закон, и если я могу рассчитывать на вашу, князь, поддержку в необходимых переменах, то я с удовольствием возьму на себя эти обязанности. Генерал-прокурор стал горячо меня уверять, что все мои желания будут исполнены,

насколько это будет от него зависеть. Через день в сенате был прочитан указ о моем назначении. Он больше всех изумил сенаторов Ховена, Миниха и Ребиндера, которые все были старше меня по службе.

В тот же вечер я благодарил государя. Когда я преклонил колена, Е.В. сказал громко: «Я бы должен вас благодарить, что вы берете на себя еще работу. Даю вам самые большие полномочия относительно ваших пасторов. Вы будете смотреть во все глаза и доносить мне. Я знаю, что многие из лютеранских пасторов заражены духом новшеств и обнаруживают взгляды, которые сложились под влиянием нового французского учения. Я всегда буду защищать в моей империи законно существующие религии и их служителей, но пусть они не отступают от должного повиновения, иначе я накажу примерно, так как они будут виновны вдвойне».

Около четверти часа говорил со мною император и говорил умно, со знанием жизни и справедливо. В заключение он сказал: «Во всех случаях, где потребуется мое личное решение, вы можете обратиться прямо ко мне».

Растроганный столькими знаками милости и уважения, я, чтобы оправдать их, через день отправился в коллегию, хотя была суббота — неприсутственный в судах день. Она помещалась в обширном здании на Васильевском острове, построенном Петром I для двенадцати коллегий. На доске, висевшей в воротах, был обозначен по-русски и по-немецки вход в каждую коллегию. Грязная спускающаяся вниз лестница вела в довольно большую переднюю, где была кухня старых солдат, которая отравляла вход в святилище правосудия едким чадом.

Оттуда попадаешь в канцелярию и в зал заседаний. Все носило на себе печать обветшания, разрушения, запустения. Кресло президента, изъеденное молью, по-видимому, было когда-то крыто красным сукном. Я пробежал некоторые протоколы и бумаги, валявшиеся на столе секретаря: во всем сказывался беспорядок и небрежность.

Это открытие огорчило меня. Передо мной открылась как будто берлога кляузничества, а не храм правосудия. Под этим впечатлением я, придя домой, набросал для генерал-прокурора верную картину виденного мною и умолял его убедиться самому в печальном положении коллегии. Он потом устно просил меня исследовать это положение во всех мелочах и представить ему официальный отчет для доклада государю.

Заняв в следующий понедельник свое президентское место, я стал наблюдать лиц, из которых состоял этот трибунал.

Вице-президент Акимов был 70-ти летний старик, разбитый

параличом. Кроме некоторых элементарных вещей, которым он научился, будучи прокурором, он решительно не имел никакого понятия об основных началах права. Старейший член, отставной пехотный майор, не знал сносно ни одного языка. Впрочем он был честным человеком и отличался здравым умом. В этом же роде были и другие. Секретаря нельзя было упрекнуть в невежестве и в отсутствии рутины, но за деньги он был на все способен.

Представлялись мне и чиновники. Между ними я заметил двух молодых людей, которые были одеты получше. Один из них был племянник первого члена, второй — сын умершего вице-президента. Я спросил их, где они учились. «В Петербурге у родителей». Имея чин титулярного советника, они занимались перепиской бумаг и хотя не могли написать двух строк без ошибки, тем не менее получали тройной оклад, как будто они были отличными работниками. Непотизм царил здесь не хуже, чем в Риме. Но не смотря на отсутствие у меня протекции и различных покровителей, я завел здесь надлежащий порядок.

Прокурор Брискорн показался мне интеллигентнее других. Так как князь отзывался мне о нем хорошо, то я пригласил его к себе на следующий день в 7 часов утра и стал расспрашивать его о канцелярии и злоупотреблениях, которые ему приходилось замечать. Он отвечал обстоятельно и посвятил меня во множество подробностей. Чтобы не судить по заявлениям одного лица, я на следующий день расспросил секретаря и устроил опрос и других, чтобы таким путем добиться от служащих коллегии верных указаний. Что ни говори, но всегда есть верное общественное мнение, и я в скором времени знал уже, чего мне держаться, особенно относительно секретаря.

Едва принялся я за водворение в коллегии порядка, как государь сказал мне: «Я со всех сторон получаю жалобы как на епископов, так и на старших духовных лиц. Это заставляет меня прибавить к коллегии еще второй департамент, специально для католиков. Таким образом вам предстоит еще труд. Среди польского и литовского духовенства есть горячие головы, которые твердо держатся прежнего духа неповиновения и безначалия. За этими господами нужно следить внимательно».

— Но, В.В., едва ли католики пожелают иметь во главе этого учреждения не католика и при том лицо не духовное.

— Тем хуже для них. Я тоже не имею чести быть духовным и наделяю вас полномочиями, полагая, что я здесь господин. Впрочем, вы можете для образования департамента взять католиков, но вы лично должны мне поручиться за этих господ.

— Разрешите мне, В.В., представить их вам, без этого я не могу взять на себя ручательства.

— Конечно. Уладьте это дело с генерал-прокурором.

26 Января государь подписал указ, 27 он был уже прочтен в сенате и я оказался с огромной тяжестью на шее, при огромной ответственности, но без увеличения моего содержания и даже без столовых денег, которые выдавались в других департаментах. Я бы их получил, если бы принялся хлопотать об этом, но за этот шаг меня не пощадили бы.

Указ об учреждении Департамента по делам католиков был разослан по всем губерниям, а я сообщил циркуляром с приложением копий именного указа архиепископу Могилевскому, начальнику всех униатских и других епископов в России, об официальном открытии Департамента.

Все епископы приняли это распоряжение с должным монарху повиновением, кроме архиепископа Могилевского. Хотя мы почти не были знакомы, он прислал мне длинное частное письмо, написанное по-немецки, для того ли, чтобы приобрести этим мое расположение, или для того, чтобы показать, что письмо не имеет официального характера.

Я был в большом затруднении, ибо было ясно, что цель архиепископа состоит в том, чтобы изъять себя от действия указа. Павел очень ревниво оберегал свою власть и не мог равнодушно смотреть на такое принципиальное объяснение духовного главы католической России. Я опасался, как бы не подвести архиепископа под его гнев и вместе с тем не наделать вреда всему духовенству, если я официально доложу о послании архиепископа. С другой стороны я не решался допустить исключительное положение, занятое архиепископом. Наконец я доверительно сообщил о полученном послании кн. Куракину и спросил его совета. Обдумав зрело все последствия, которые может повлечь за собой поведение архиепископа, генерал-прокурор доложил императору о положении вещей, и Е.В. приказал мне объявить архиепископу формальный выговор с предупреждением, что он будет наказан со всею строгостью законов, если не будет повиноваться императорскому указу и повелениям, которые будут приходить к нему из юстиц-коллегии.

Те, кому известна гордыня этих прелатов, могут себе представить всю силу его ярости. Тотчас же стал он хлопотать разрешение явиться в Петербург, но это разрешение получил не так-то скоро. Явившись наконец, он прежде всего старался скрыть свою ненависть под маской покорности и льстивости. Но мало-помалу она стала обнаруживаться и против меня, после того, как он тысячу раз уверял меня в своем расположении ко мне.

В это время приехал в Петербург со своей очаровательной женой лейтенант русской службы Лобарчевский. Он умолял меня,

во что бы то ни стало определить его на гражданскую службу. Я предложил ему первое после вице-президента место в департаменте. Майору Дюгамелю, служившему в гренадерском полку, который также просил меня об этом, я предложил второе место. Оба согласились. Е.В. утвердил назначение их и департамент получил хороший состав. Государь знал Лобарчевского, который в Польше исполнял обязанности комиссара, судьи и посланника. Таким образом у него был навык в гражданских делах и в обращении с законом. Дюгамель получил очень хорошее образование в Варшаве; он владел несколькими языками и состоял при генерале Кассаловском и при князе Репнине для внешней переписки по-русски и по-польски. Кроме того, я знал его за человека высокой честности и редкой нежности. Поэтому мне было важно привлечь его в департамент, которому была существенно необходима репутация беспартийности и беспристрастия.

В это время (в феврале 1797 г.) проезжал через Ригу кн. Зубов, получивший разрешение выехать за границу. Генерал Пален, а также лифляндский губернатор Кампенгаузен посетили его. Полицейский шпион, который следил за Зубовым по распоряжению петербургского генерал-губернатора Архарова, сделал ложный донос о необыкновенном приеме, сделанном в Риге Зубову. Между прочим он сообщил, что Пален сопровождал Зубова до Митавы, за пределы своей губернии, чего не мог делать полковой командир. Император, которого хотели восстановить против Зубова, впал в страшный гнев, услышав об этой почетной встрече, устроенной его подданному. Не давая себе труда проверить донос, он исключил Палена из военной службы. Пален пытался оправдаться письмом, которое государь, как говорят, бросил, не прочитав. Кампенгаузен, вследствие этого ложного доноса, также потерял место. Но их очевидная невиновность заставила князя Репнина и генерала Бенкендорфа с такою горячностью приняться за их защиту, что государь наконец простил их обоих.

Перед своим отъездом в Москву государь еще раз приказал мне строго следить за правосудием в делах протестантских, а кн. Куракин обещал мне, что дела, вверенные моему производству, будут решаться самым скорым образом.

Едва прошло дней восемь, как прокурор юстиц-коллегии Брискорн обратил мое внимание на одного шведского пастора, который уехал в Швецию, избегая наших пограничных постов. Поручителем за верность сообщения был пастор Шк.

Дело было слишком щекотливо, чтобы доводить объяснения до сведения генерал-прокурора только на основании словесного

заявления. Поэтому я потребовал от Брискорна письменного заявления и посоветовал при этом, прежде чем начинать дело, хорошенько обдумать этот шаг. Тот отвечал мне, что если я буду чинить ему препятствия, то он свой донос подаст прямо генерал-прокурору. После этого объяснения, я только настаивал, чтобы заявление было сделано письменно за подписью его и пастора Шк. Получив этот документ, я пригласил к себе последнего и убедившись, что в его заявлении нет ни противоречий, ни следов личной ненависти, подал официальный доклад, причем просил генерал-прокурора пощадить пастора Цигнеуса от неприятной огласки и уполномочить меня произвести расследование этого дела на местах, через которые проедет Цигнеус на возвратном пути из Финляндии.

Генерал-прокурор однако возложил на меня исполнение высочайшего повеления арестовать на почте все письма, адресованные пастору Цигнеусу, и прислать их в сопровождении полицейского офицера в Москву, а также и сделавшего донос пастора Шк.

Так как было чрезвычайно опасно не исполнить тотчас же повеление, непосредственно полученное от государя, то я решился послать одного Цигнеуса, так как иначе многочисленные финские и шведские церковные общины в Петербурге остались бы без пастора, тем более, что наступала Пасха, когда всякий желает причаститься.

Генерал Буксгевден, на которого было возложено управление Петербурга на время отсутствия Архарова, разрешил Цигнеусу воспользоваться хорошим экипажем и дал ему в провожатые одного кроткого и образованного полицейского из немцев. Я дал ему для устройства его дел 24 часа сроку и доложил генерал-прокурору о причинах, заставивших меня отложить отправку пастора Шк., который к тому же не мог ничего прибавить к своему доносу и своим отъездом только лишил бы финскую колонию возможности исполнять духовные требы, что вызвало бы скандал и ненужную огласку. Вместе с тем, я просил государя отнестись милостиво к пастору Цигнеусу, который, по всему вероятию, сделал важный шаг скорее по рассеянности, чем по злому умыслу.

Генерал-прокурор, человек гуманный и добрый, всецело присоединился к содержанию моего письма. Пастору Цигнеусу удалось оправдаться относительно чистоты своих намерений. Император отпустил его обратно и 2 апреля 1797 года изъявил мне свое особенное благоволение за ведение этого дела.

Коронование совершилось наконец 2 апреля. Дарованные по сему случаю государем награды были беспримерны и

безграничны. Граф Безбородко был сделан князем и получил 30 тысяч крестьян. Оба брата Куракины получили по 12 тысяч и богатейшие в империи рыбные промыслы. Никто не был обойден поместьями и орденами. Камердинер Кутайсов, бывший уже статским советником, вздумал просить у государя орден св. Анны 2 степени. Павел пришел в гнев, обошелся с ним грубо и поспешил к императрице, у которой нашел Нелидову. Он сказал, что он сейчас прогнал Кутай сова за его нахальство. Напрасно старалась императрица успокоить его: его кровь бурлила и только после обеда Нелидовой посчастливилось выпросить прощения Кутайсову, который в знак благодарности бросился ей в ноги. Впоследствии его благодарность обеим своим защитницам подверглась испытанию.

Через несколько дней император отличил на балу девицу Лопухину. Он говорил о ней вечером с Кутайсовым и этот разговор без всякой задней мысли сделался основанием широко задуманного плана. Но план этот осуществлялся медленно.

Глава II
Затруднительное положение

Желая на обратном пути из Москвы осмотреть и другую половину своей империи, государь направился через Литву, Курляндию и Лифляндию. Генерал-губернатор Архаров прибыл прямо в Петербург и, рассчитывая приготовить государю приятный сюрприз, приказал всем без исключения обывателям столицы выкрасить все ворота и заборы в черный, оранжевый и белый цвет Это смехотворное распоряжение, стоившее больших денег, было немедленно исполнено: пользуясь случаем маляры запрашивали за работу, сколько хотели.

Со всех сторон неслись громкие крики недовольства, так что императрица, прибывшая ранее своего супруга, была чрезвычайно смущена этим приказом. Она ли обратила на это внимание императора, или он сам был изумлен смехотворным смешением в одну кучу частных и казенных зданий, но при въезде он спросил, что значит эта нелепая затея. Ответ был, что полиция принуждала обывателей безотлагательно исполнить волю государя. «Нужно быть дураком, — воскликнул Павел в гневе, — чтобы издать такой приказ». Этот случай, сам по себе незначительный, повлек за собою падение Архарова. Его сменил гр. Буксгевден. Узнав, с какой мягкостью и тактом Буксгевден исполнял обязанности генерал-губернатора, пока двор был в Москве, Павел пожаловал его осыпанной бриллиантами табакеркой с своим портретом, а его супруга получила орден св. Екатерины второй степени.

Эта перемена для меня была вдвойне приятна, так как с одной стороны я был в приятельских отношениях с Буксгевденом, жена которого воспитывалась в Смольном институте, а с другой и потому, что по своему положению я должен был постоянно входить в сношение с генерал-губернатором.

Я сообщаю об этом для того, чтобы характеризовать стремление государя к справедливости. Как только такой осыпанный милостями человек, как Архаров, проявил жестокость, двойственность и несправедливость, он наказал его сейчас же. Говоря вообще, ни один смертный не проявлял в себе таких контрастов света и тени, как Павел. Его ум и страсти, восприимчивость и жестокость, добродетели и пороки, энтузиазм в дружбе, переходивший потом в ненависть, его признательность за все, что, по его мнению, делалось для него от всего сердца, и его ярость при малейшей оплошности, которую он замечал относительно себя, все это проявлялось в нем в высшей степени.

И это нагромождение в нем противоположных и враждебных одно другому качеств должно было привести к гибели.

Его добротой и справедливостью злоупотребляли, портили его хорошие качества и испытывали на нем верность поговорки: corruptio optimi pessima (самая худшая порча самого лучшего).

Вскоре по возвращении из Москвы, государь дал очень веское доказательство хорошего обо мне мнения и указом 31 мая назначил меня членом комиссии по составлению государственных законов.

У Екатерины II было намерение, достойное ее духа, опубликовать новое гражданское и уголовное уложение. Впоследствии она написала депутатам свой «Наказ». Когда труды депутатов по разным причинам были прерваны, императрица спустя несколько лет снова вернулась к своему любимому проекту и назначила другую комиссию, которая работала довольно долго, пока смерть Екатерины не лишила счастья ее народа.

Жаждя славы законодателя, Павел поручил трем сенаторам, в том числе и мне, рассмотреть эту работу, как только она будет окончена, вместе с генерал-прокурором, внести в нее нужные поправки и привести в исполнение.

Это увеличение работы поглощало почти все мои силы. Обремененный обязанностями сенатора и президента в двух департаментах юстиц-коллегии, я, желая как можно ближе освоиться с порученной мне задачей, был вынужден погрузиться в материалы и работать на дому.

На первом же заседании я поднял вопрос об общем плане уложения. Мне отвечали, что его нет. Тогда я написал генерал-прокурору, чтобы иметь возможность, по крайней мере, познакомиться с конспектом отдельных частей, его и получил этот конспект с большим трудом. С этого момента мои сочлены были восстановлены против меня.

Прежде всего дело шло о процессуальной стороне суда. Я составил двадцать существенных пунктов и направил их к кн. Куракину с просьбою поддержать мои указания о мерах к сокращению процесса. Этими указаниями судьям ставилось в обязанность стараться примирить тяжущихся, прежде чем дело дойдет до разбирательства. Это правило, применявшееся уже в Пруссии, Швеции и Дании, встретило полное сочувствие генерал-прокурора. Но введение его в России представляло некоторые трудности. После того как я заявил, что лично обращусь к государю по этому поводу, предложенный мною пункт был принят. Но все это не способствовало тому, чтобы члены комиссии стали ко мне благосклоннее.

Всегда готовый загладить несправедливость, как скоро он поймет ее, Павел принял Палена обратно в армию с зачетом времени, проведенного им в отставке, а Кампенгаузена назначил сенатором в 3 департамент. Новый сенатор понравился мне и я был в восторге, что наш департамент усилился лифляндским дворянином, соединявшим в себе познания с прямотою и честностью. Он слыл знатоком дела и это обстоятельство увеличивало доверие публики к 3 департаменту, которому новоприобретенные провинции отдавали явное и может быть небезосновательное предпочтение. Хочу прибавить здесь две-три черточки, чтобы обрисовать дух партийной розни, царивший тогда и продолжающийся еще и теперь между старинными русскими и новоприобретенными провинциями.

Однажды Соймонов вздумал взять диктаторский тон, чтобы поставить на своем по одному лифляндскому делу, которое нам, конечно, было известно лучше, чем ему. Он заручился предварительно содействием Стрекалова, Пастухова и Голохвастова и склонил их на свою сторону. Обмен мнений был самый оживленный. Миних не мог подать своего голоса, так как дело касалось его родственников. Гр. Строганов был нездоров. Таким образом большинство составилось из Ребиндера, Потоцкого, Ильинского, фон-дер-Ховена, Кампенгаузена и меня. Но так как для решения дел требовалось единогласие, иначе дело должно идти в общее собрание, то обер-прокурор делал все возможные попытки, чтобы склонить нас к соглашению. Но Соймонов упорно стоял на своем, мы также упорствовали. Наконец он сказал: «Вы, господа, придерживаетесь своей немецкой юриспруденции». «Конечно, возразил ему фон-дер-Ховен, ибо она держится на принципах права и здесь дело идет о провинции, пользующейся привилегией и имеющей свои собственные законы». «Вечно вы с вашими привилегиями!» продолжал Соймонов. «Они так же священны, как и всякий закон».

Увидев, что все начинают горячиться, я стал говорить: «Господа, мы уклоняемся от дела. Вернемся к нему и резюмируем, что в нем сказано за и против». Далее я изложил самую суть дела, прочел закон ясный и понятный и снова повторил свое мнение. «В таком положении, — сказал я обер-прокурору, — находится дело. Я становлюсь на сторону большинства и не отступлюсь ни от одного слова моего заявления, которое опирается на долгий опыт».

Обер-прокурор отвел Соймонова в сторону и тот счел за лучшее уступить. Таким образом все устроилось благополучно.

Через несколько дней у меня снова разыгралась сцена с

прежним диктатором, по поводу одного курляндского дела. Он пытался противопоставить авторитету закона софизм. В раздражении, которое было вызвано его мудрствованиями, я сказал: «Я полагаю, что курляндские дела настолько не знакомы для вас, что вы даже не знаете, на каком языке они писаны». «Ну это я знаю отлично, — ответил он в гневе, — они конечно, ведутся на вашем милом немецком языке».

— Ваше превосходительство ошибаетесь: они ведутся на латинском языке и у нас не всегда даже бывает проверенный перевод.

Чтобы подтвердить свои слова, я встал, взял свод курляндских законов и торжественно показал ему заглавие, напечатанное на латинском языке без всякого подстрочного перевода: Formula Regiminis et Statuta. Но Соймонов, нисколько не смутившись, отвечал: «Мы в сенате принимаем только русские документы и мне дела нет, сделан ли русский перевод с латинского или с немецкого, а вы, в.пр., не имеете никакого преимущества, не смотря на ваше латинское образование». «Я имею уже то преимущество, отвечал я, что переводчик не может меня обмануть».

Пререкания кончились, и дело было решено так, как должно было.

Департамент католических дел не давал мне покоя. В это время случилась еще в юстиц-коллегии неприятная история, печальное последствие которой я чувствую и до сих пор.

Как-то в праздник, когда я рассчитывал отдохнуть, по крайней мере до того часа, когда нужно было являться во дворец, мне доложили о коллежском советнике Эйлери и пасторе Коллинее. Я не знал ни того, ни другого и принял их с тою любезностью, с которою обыкновенно принимают людей, попадающих не вовремя. Первый из них сказал: «Мы являемся депутатами от немецкой реформатской общины и приносим вам жалобу на старшин французской общины, которые без нашего ведома сдали в наймы дом, который находится в нашем общем владении».

— Я удивлен, господа, что для принесения жалобы вы избрали праздничный день.

— Я не могу принять от вас словесную жалобу, да еще у себя в доме, Составьте обычную докладную записку и подайте мне ее на общем приеме.

— Мы желали бы избегнуть огласки и пришли вас просить уладить это дело каким-нибудь соглашением.

— С удовольствием, господа. Но кто эти старшины французской общины?

— Граф Петр Головкин, швейцарский купец Фюрс и маклер Бузанке.

— Я сегодня-же переговорю с гр. Головкиным и льщу себя надеждой, что мне удастся уладить это дело. Но в чем же суть дела?

Посетители предъявили мне засвидетельствованную копию с указа 1778 г., подлинник которого хранился в юстиц-коллегии за подписью императрицы Екатерины и с приложением государственной печати. Статья 1 гласила, что реформатская церковь в С.-Петербурге должна рассматриваться как общая обеим народностям, а ст. 4, что все дела должны идти не иначе как с согласия церковного совета из обеих народностей. Посетители изложили мне все подробности.

Дело мне показалось совершенно ясным и справедливым и я предложил им свои услуги.

Прибыв ко двору, я поспешил отыскать гр. Головкина. Но едва я произнес слова два, как он прервал меня: «Эти немецкие мошенники обманули вас. Указ 1778 г., который они выманили у императрицы, уничтожен теперешним государем и так как церковь основала французская община, то мы отберем наше захваченное имущество». Брат его церемониймейстер подошел к нам и также прибавил с решительным видом: «Нужно образумить этих немцев. Так как наша семья стоит во главе французской общины, то мы надеемся, барон, что вы как можно скорее приведете к концу это дело».

Наш разговор был прерван выходом двора, который прошел мимо нас к обедне. На другой день я потребовал от архивариуса юстиц-коллегии весь относящийся к этому делу материал, в особенности подлинные указы Екатерины и повеление нынешнего государя. Велико было мое изумление, когда в указах Павла не нашлось никаких перемен, кроме перемен часов богослужения, ни одного слова, которое затрагивало бы указ Екатерины. Вследствие этого я письменно просил камергера гр. Головкина приехать ко мне, но письмо было мне возвращено обратно, так как Головкин был в это время в Гатчине.

Между тем старшины немецкой общины успели побывать у пастора французской общины Мансбенделя, который обошелся с ними свысока и заявил, что никакое соглашение не мыслимо. Когда они подали официальную жалобу в коллегию, которая по принятому порядку сообщила ее старшинам французской общины с обязательством дать свое объяснение в течение восьми дней. Те потребовали еще десять дней отсрочки, которая им и была дана в виде крайнего срока. Когда этот срок истек и нужно было рассмотреть жалобу, они прислали наконец свой ответ в

канцелярию. Он был занумерован, подшит к делу и на другой день секретарь доложил мне об нем вместе с другими входящими бумагами.

Я приказал доложить его коллегии. Чтение его было встречено единодушным выражением неудовольствия. Это был скорее пасквиль на истцов, юстиц-коллегию и саму императрицу Екатерину, чем возражение по существу жалобы Я хотел возвратить этот дерзкий документ, как неприличный памфлет. Но так как он был уже занумерован, то это оказалось возможным, разве в том случае, если бы на нем была резолюция с мотивами, по которым он возвращается подателям. По этому воспротивился прокурор. Нельзя было, по его мнению, мотивировать обратную отсылку, не коснувшись нападок на указ 1778 г. и оскорблений по адресу целой коллегии.

Смысл податной докладной записки клонился к следующему: Реформатскую церковь построили французы и сначала они одни владели ею. Затем они позволили немцам собираться в этой церкви, не предоставляя им однако прав сочленов. Поэтому совершенно несправедливо делили с ними средства и доходы, а теперь они снова вступают во владение тем, что им принадлежит.

Немцы же возражали: «Французская община действительно является основательницей первой из реформатских церквей в России. Но, когда эта деревянная церковь была повреждена пожаром, французы и немцы устроили совместный сбор, который и был предназначен для постройки церкви, которая с этого момента сделалась общею. Когда в 1772 г. по этому вопросу возник спор и об этом узнала императрица, она повелела прекратить этот спор при помощи самого тщательного судебного расследования и собственноручно подписала указ с приложением к нему государственной печати. Таким образом вопрос этот есть res judicata и теперь уже нельзя по этому поводу возбуждать спор, не навлекая на себя обвинения в оскорблении высочайше утвержденных законов.

Вся коллегия была того же мнения. Мне, как президенту, оставалось только отложить на другой срок это дело под предлогом, что другие более старые дела ждут своей очереди. Я поспешил поставить в известность генерал-прокурора о неуместном тоне в ответе старшин французской общины. Так как он был в дальнем родстве с гр. Головкиным, то я просил его хорошенько его проучить и предложить взять этот документ обратно, подчистить в нем все места, оскорбительные для Е.В. и для законодательной власти и непочтительные по отношению к целому учреждению.

Князь Куракин в тот же день должен был ехать в Гатчину и

обещал исполнить мою просьбу. Но, возвратившись обратно, он сказал мне: «Я говорил с обоими братьями, они утверждают, что документ вполне корректен и в нем незачем менять ни одного слова. Таким образом идите своим законным путем».

Так как я ничего не мог сделать в деле, которое могло печально кончиться как для графа Головкина, так в особенности для пастора Мансбенделя, который вел все дело и редактировал этот документ, то я пригласил к себе прокурора Брискорна и мы вновь несколько раз прочитывали его, находя на каждой странице рискованные утверждения, неприличные нападки и грубые оскорбления. Князь Куракин не достаточно владел немецким языком, чтобы понять все эти выходки. Поэтому я приказал перевести заявление французов на русский язык и поручил Брискорну официально представить этот перевод с кратким изложением всего дела по начальству. Но потому ли, что генерал-прокурор был необычайно завален работой, или потому, что он был убежден, что дело кончится наказанием одного пастора, словом, он, не долго думая, пустил дело обычным порядком.

Начался формальный процесс и так как с одной стороны нужно было отделить истцов от ответчиков, а с другой тех, которые по своему положению не могли не знать, что делают, то следовательно, прежде всего за редакцию докладной записки приходилось отвечать пастору Мансбенделю. Очевидно, ее писал не граф Головкин. Писал ее немец и составление ее могло быть приписано только купцу Фюрсу или пастору Мансбенделю. Бузанке на первом же заседании по этому делу заявил, что он подписал записку, не прочитав ее, поверив на слово пастору, уверявшему, что она составлена согласно закону. Бузанке прибавил, что он не принимал участия ни в составлении записи, ни в возбуждении самого иска, так как дела этого он совсем не знал.

Как пастор, Мансбендель находился в непосредственном подчинении у коллегии. Он был вызван в нее и когда он явился, ответы на вопросы, на которые ему нужно было отвечать, были у него готовы. Вообразите себе наше изумление, когда он явился, словно шут, во фраке, тогда как обычай и закон предписывали пасторам в таких случаях являться в установленном для их сана одеянии.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Но, барон, полагаю, что имею честь быть с вами знакомым.

— Здесь нет барона. Здесь от лица нашего государя заседает президент и он-то и спрашивает вас о вашем имени и звании.

— Мое имя Мансбендель. Я состою пастором французской реформатской церкви.

Вы пастор. Какое же вы имеете право являться в таком наряде в присутственное место, которое для вас является высшим судебным учреждением?

— Но… я полагал, что мой костюм сам по себе приличен.

— Вы совершенно напрасно так думали. Извольте отправляться и дожидайтесь, пока вас вызовут снова.

Затем я спросил членов коллегии, какому наказанию следует подвергнуть этого нахала? Дело в том, что государь строго запретил носить фрак, и кроме того, пастор в силу своего сана должен был явиться в установленном для него одеянии.

Все члены соглашались, что нужно поступить с ним по всей строгости законов и отправить его в полицию. Но я успокоил их и удовольствовался штрафом в пользу больницы для бедных в размере 5 рублей. Его снова привели и объявили ему это решение. Он закусил губы и, казалось, потерял самообладание.

Затем секретарь передал ему докладную записку и спросил, известен ли ему этот документ, присланный в коллегию от французской общины? Он долго его рассматривал и вместо ответа прибег к разным уловкам. «Вы удаляетесь от вопроса, — сказал я. — Отвечайте прямо: да или нет». «Ну хорошо, я знал о нем». «Секретарь, запишите, что он знал о документе. А если вы о нем знали, то почему оставили вы в нем невежество и грубость его составителя?». «Грубость! Это сильно сказано. Но я работал над запискою не один: ее подписал граф Головкин». «Следовательно, вы сознаетесь, что вы составляли записку. Запишите об этом, г. секретарь». «Т. е. я хотел сказать, что мы составляли ее вместе». «Одобряете ли вы ее основные положения?». «Основные положения? Да, я считаю их закономерными и разумными». «Вы изучали право, стало быть? Но знаете ли вы, что ни один подданный не имеет права объявлять ничтожным высочайшее повеление, уже обнародованное в должном порядке? И если императрица, соизволив по редкой доброте своей разобрать дело, в первых строках указа прибавила: по зрелом обсуждении дела признали мы за благо, для пользы обеих общин и устранения между ними прежних пререканий, покончить этот спор и т. д., то как же осмеливаетесь вы опровергать намерения этой великой государыни, самому становиться судьей и отвергать указ, хранящийся в юстиц-коллегии для сообразования с ним? Подумайте хорошенько. Вы, должно быть, введены в заблуждение. Вот подлинный указ за подписанием императрицы и с приложением государственной печати». «Все это я знаю, но теперешний государь отменил этот указ». «Это неверно. Вот его указ, он касается только времени богослужения. Если отменяется

только один пункт закона, а о прочих не говорится, то значит ли это, что отменяется закон целиком? Где вы учились логике?» «Очевидно там же, где и граф Головкин, и она у меня не хуже, чем у других». «Не забывайте, что вы подчинены сему присутственному месту, что вы давали обет послушания правилам церкви и что вы можете понести наказание, если будете упорствовать в своих мыслях». «Я не боюсь наказания, и знаю, что сама коллегия подчинена сенату». «Итак вы настаивайте на всех выражениях, которые содержатся в докладной записке?» «Да, настаиваю». «И признаете все оскорбления по адресу юстиц-коллегии?» «В записке нет ничего оскорбительного». «Кто ее составлял?». «Не знаю». «Можете показать это под присягой?» «Т. е. я не могу точно сказать, кто ее составлял, так как над нею работали многие?». «Но кто именно ее редактировал?» «Все понемногу». «Но по слогу видно, что ее писал кто-нибудь один. Где черновик?» «Вероятно, у Фюрса». «Так как вы были одним из редакторов записки и присоединяетесь ко всем высказанным в ней положениям, то почему вы ее не подписали? Понимаете ли вы последствия такого шага?» «Я не подписал ее потому, что мне об этом ничего не говорили». «Но вы согласились бы подписаться под таким документом?» «Я полагаю, что он составлен законным образом и подписать все, что подписано гр. Головкиным, я считал бы за честь для себя». «В таком случае, не угодно ли вам подписаться?» «С большим удовольствием». Он взял перо и подписался.

Мы просто оцепенели от удивления при виде такой наглости. Когда он подписался, я приказал секретарю прочесть протокол заседания и спросил Мансбенделя, не имеет ли он прибавить чего-нибудь? «Нет», отвечал тот. «В таком случае подпишитесь». «Разве мне нужно подписываться?» «Суд приказывает вам, ибо этого требует закон».

Он подписался, и я отпустил его. Согласно церковным законам, он единогласно был приговорен к отрешению от должности. Но это решение я задержал на три дня.

Между тем прокурор Брискорн настаивал на необходимости обнаружить составителя записки на том основании, что он гораздо виновнее, чем те, которые по неразумению попали в это дело. Была сделана очная ставка Фюрса и Бузанке. Первый сознался, что черновик записки находится у него. Он хотел его принести, но так как жил далеко, то за ним послали одного из канцелярских служителей. Порывшись в своей комнате, Фюрс сказал ему: «Я и забыл, что отдал подлинник гр. Головкину. Пойдите к нему. Он вам даст». Писец, которому было поручено только отправиться с Фюрсом, был так глуп и пошел к Головкину,

который, подумав с минуту, сказал: «Я изорвал черновик и не могу вам дать его».

Я был уже в сенате, когда писец вернулся с командировки. Я узнал обо всем лишь на другой день и сделал ему выговор за превышение своих полномочий. Для дела это было впрочем безразлично, и во всяком случае поступок писца не был противным закону. Тем не менее, пустили в ход невидимые пружины, чтобы наделать неприятностей: писца превратили в полицейского офицера, а простую просьбу показать документ, с которой обращались через Фюрса, в инквизиционный обыск в бумагах графа Головкина.

Я предвидел такой оборот дела и написал об этом генерал-прокурору, который призвал меня к себе. Взвесив все обстоятельства, я пришел к мысли, что следует обратить внимание только на то обстоятельство, которое вытекает из самого характера преступления или проступка, т. е. что виновником всего следует признать пастора, а старейшин, в виду их незнания законов, объявить неспособными в дальнейшем исполнении ими своих обязанностей.

Мансбенделю удалось однако уверить гр. Головкина, что тут задета его честь, и убедить его подать апелляционную жалобу в сенат. Тот так и сделал, и скоро при дворе и в городе только и говорили, что об этом. Оба Головкина по всем передним кричали о юстиц-коллегии и в особенности о ее председателе. Ложь и клевета разрастались все более и более, переходя из уст в уста, так что, не знай я имен действующих лиц, я не понял бы, о ком именно идет речь.

В конце концов эта история дошла до государя и Е.В. однажды вечером спросил меня с улыбкой:

— Как ведут себя ваши пасторы?

— Отлично, В.В.

— Все?

— Все.

— Это невозможно. Нет ли между ними и таких, которые нуждаются в исправлении?

— Они уже исправляются.

— Кстати, кому, это недавно дали урок?

— Одному здешнему реформатскому пастору.

— Как его зовут?

— Мансбендель.

— Как же его наставили на путь истины?

— Устранив его от должности. Но так как закон разрешает ему подать апелляционную жалобу в сенат, то он воспользовался своим правом.

— Как он осмелился апеллировать на юстиц-коллегию?

— В.В., он имел право, и коллегия очень рада этому.

— Я приказывал вам непосредственно докладывать мне о происках этих господ. Отлично. Я буду апеллировать к самому себе. Отправляйтесь сейчас же к генерал-прокурору и скажите ему, чтобы он посадил господина Мансбенделя в тюрьму, ибо он обнаружил непочтительность, позоря учреждение, которому он, как пастор, подчинен.

Я был в отчаянии от такого приказания, но государь уже повернулся к кому-то другому. Я был обязан исполнить его, как можно скорее. Генерал-прокурор сообразил, что дело принимает весьма серьезный оборот. Я должен был задержать дело в 3 Департаменте, где Соймонов открыто стал на сторону Мансбенделя, так как гувернантка его дочери состояла с пастором в родстве или в дружбе.

Гроссмейстер Мальтийского ордена прислал с кавалером ордена Гачинским крест Ла-Валетта[8]. Посланником назначен был гр. Литта и шутовское торжество его прибытия прошло с большой серьезностью 27 ноября 1797 г., 29-го числа была торжественная аудиенция. Я присутствовал на ней в качестве сенатора, а не в качестве кавалера ордена. Сенат в полном составе занимал место по правую сторону трона, на котором Павел восседал в полном торжественном одеянии, окруженный великим канцлером кн. Безбородко, вице-канцлером кн. Александром Куракиным и другими. Литта в широкой черного бархата мантии, в сопровождении императорского комиссара и обер-церемониймейстера и секретаря своего посольства, приближался, предшествуемый тремя рыцарями, которые несли на расшитых золотом подушках присланное императору одеяние и древний крест Ла-Валетта, и еще несколько крестов для членов царской семьи.

Литта сказал речь по-французски с гасконским акцентом очень явственно и подобающим случаю голосом, затем он передал свои верительные грамоты государю, который отдал их кн. Безбородко, и этот последний по-русски произнес: «Государь Император с удовольствием принимает звание защитника ордена и крест Ла-Валетта». После этого Литта передал государю крест и сказал: «Это дань храбрости от добродетели». Когда посланник приблизился к Павлу, чтобы надеть на него одеяние, Кутайсов завязал на нем банты. Хитрый итальянец нарочно дал этому камердинеру, который в это время был уже гардероб-мейстером, возможность выдвинуться, хотя было бы естественнее, чтобы это дело при императоре было поручено камергеру.

Я умолчу о церемониях, имевших место у императрицы, о

посвящении великого князя и принца Конде, который получил большой крест и был сделан великим приором для России.

В тот же день после обеда император пожаловал большим крестом кн. Безбородко и кн. Куракина и многих возвел в рыцарское достоинство. Так как согласно уставу ордена потомки евреев и магометан не могли получать мальтийского креста, то Кутайсов был возведен в рыцари несколько позднее.

Потом он получил большой крест и сделался сановником ордена к стыду всех тех, кто дорожил благородными принципами этого установления. Скоро орден совсем упал вследствие низости одних и непоследовательности других. Я держался в стороне, я тоже мог бы получить звание, но для этого нужно было бы входить в сношения с Литтой и его креатурами, а я был настолько горд, что не принял бы от него и тени одолжения.

Если вспомнить события во Франции, разыгравшиеся к концу 1797 г., то не покажется удивительным овладевшее Павлом беспокойство, как бы ни получили широкого распространения печальные принципы, которые повсюду приобретали себе бесчисленных сторонников. Тщательно осведомленный в этом направлении своими посланниками и многочисленными комиссарами, он с особенным подозрением относился к иностранцам, которые, под предлогом просвещения юношества, только развращали его и вселяли в нем презрение ко всему, что требовало послушания, долга и выдержки. Разрушить старые идеи и перестроить все по новому — вот что внушали не только учителя из немцев и французов, но и некоторые пасторы.

— Имеете ли вы свежие известия о переполохе и духе новшеств ваших пастырей в Лифляндии? — спросил меня однажды государь.

— Нет, В.В.

— Ну так я должен сообщить вам, что некоторые из этих господ изменили даже молитву при крещении и стараются ввести в церковный обиход много новшеств. — Затем он указал мне не один случай в лифляндском семействе, где пастор, управляющий и учитель стали говорить всем ты по принципу равенства, и приказал мне принять этот случай к сведению. — Я буду охранять лютеранскую церковь, — продолжал он с жаром, — но если каждому пастору придет в голову вводить новшества по своему вкусу, то придется водворить порядок. Понимаете?

— Вполне, В.В. Но ни случайно, ни по своему служебному положению я не получал подобных сведений из этих провинций. Я могу судить о дурных вещах, которые там совершаются, только по жалобам, которые в законном порядке подаются в юстиц-коллегию. Единственной мерой, к которой я мог бы прибегнуть,

это разослать циркуляр всем лютеранским пасторам и строго запретить им всякие новшества, которые не согласуются с Аугсбургским исповеданием и высочайше утвержденными каноническими правилами.

Государь одобрил мое предложение. Невозможно себе и представить, какой поднялся против меня вопль от Петербурга до самого Архангельска. Приведу здесь два случая.

Пастор Вольф, обедая как-то с сенатором Ребиндером и Кампенгаузеном, воскликнул под конец обеда: «Великий Боже! Неужели президент юстиц-коллегии, как он ни упрям, чтобы не сказать хуже, может рассылать нам свои деспотические приказания, словно якобинцам, с целью нас унизить и связать нас старыми, отжившими формами, которые Лютер только принужден был терпеть. Но мы в просвещенный век не можем уже их поддерживать, не делаясь смешными в глазах простых рабочих».

Добрейший Ребиндер, взиравший на пастора, как на оракула, воспылал против меня священным гневом, а Кампенгаузен хладнокровно осведомился:

— Но разве циркуляр так уж нелеп?

— Мы говорим здесь между нами, — возразил пастор, — по форме и содержанию он превосходит всякое вероятие.

— Президент, — продолжал Кампенгаузен, — вчера дал мне один экземпляр. Он со мной. Я его еще не читал и потому, с вашего позволения, я его сейчас вам прочту.

— Он довольно длинен. Прочтем его лучше после обеда.

Но Кампенгаузен вынул уже циркуляр и принялся читать. Собеседники — их было человек 7–8, были чрезвычайно удивлены, не найдя в нем ни проявлений деспотизма, ни абсурда. Но пастор разбирал документ с горечью человека, которого обидели.

Я страдал душою и телом за эти вздорные выходки, которые для простоватых любителей новшества могли кончиться очень печально. Они не понимали, что, выражаясь суровым языком, хотел подавить в них развивающуюся дерзость, но что с другой стороны я напрягал все силы, чтобы скрыть их мятежный дух от Павла, который наказал бы их с крайней жестокостью.

Можно представить, как он говорил о них, дав мне однажды совершенно неожиданно приказание, не принимать более пасторов из иностранцев, особенно из шведов.

— Я не хотел бы, сказал однажды государь, чтобы посвящались в духовное звание лица, которые возвращаются к нам из немецких университетов.

— Но, В.В., откуда же взять проповедников, богословски

образованных. У нас нет таких университетов.

— Можно открыть семинарии.

— На это нужно время.

— При усердии можно ускорить все. Я рассчитываю на вас и поручаю вам выработать соответственный проект.

— У католиков, В.В., есть университеты и семинарии в Вильне, Киеве, Могилеве, есть и средства. Но у лютеран и кальвинистов их нет. Правда, без особенных расходов можно было бы завести в Митаве профессора богословия и расширить ревельскую гимназию.

— Делайте, как знаете.

— Благоволите разрешить мне затребовать от епископов и губернаторов прибалтийских губерний нужные сведения от имени Вашего В-ва.

— Хорошо. Позволяю вам это и советую немножко понажать на этих господ.

Вследствие этого я написал официальное и настоятельное письмо митавскому генерал-губернатору кн. Репнину, губернаторам Эстляндии, Лифляндии и Курляндии и разослал через юстиц-коллегию католическим епископам высочайшее повеление.

Я потребовал от епископов, чтобы они ясно и подробно доложили мне о состоянии семинарии при них, а также сведения относительно светского духовенства, многие члены которого связаны с воспитанием юношества. Я намекнул, что у меня имеются сведения о некоторых фондах, которые были назначены на семинарии, но затем получили другое назначение, что государь желает знать о их размере и о том, на что они расходуются.

Затронуть эти струны значило оскорбить святилище. В один месяц все прежде враждовавшее духовенство соединилось. Архиепископ могилевский добился разрешения приехать на несколько недель в Петербург под предлогом необходимости посетить столичные церкви и совершить некоторые архипасторские требы. Он сейчас же посетил меня, на другой день я отдал ему визит. Мы имели продолжительный разговор, во время которого он все увиливал. Он говорил умеренно и осторожно и ни разу не выдал своей гордыни, скрытой под маской смирения. Он попенял мне за высочайший выговор, под который я его подвел. Но я добродушно рассказал ему об этом факте. Тот только поднял глаза к небу: «Повиноваться безропотно государю — первый долг христианина. Он всегда будет для меня священным».

Потом мы стали говорить о департаменте католических дел,

и архиепископ чрезвычайно был удивлен моим знанием мелких подробностей духовной дисциплины католической церкви. Сам он начал свою карьеру гусарским офицером и лютеранином. Переменив религию и состояние, он мог набраться знаний в этой области только самым поверхностным образом, а я, воспитывавшись в Польше, приобрел особенную склонность к истории церкви и даже занимался исследованиями по истории Тамплиеров, Меченосцев и Иоаннитов. Кроме того, не мало сведений о католическом духовенстве и католическом праве римской церкви вынес я из бесед с епископом лифляндским.

Через несколько дней архиепископ прислал мне официальную докладную записку о семинарии, которую я передал в юстиц-коллегию, и частное письмо, в котором излагал свои соображения по поводу основания семинарии.

С этого времени начинается тайная интрига против меня, которая заставила меня удалиться из юстиц-коллегии и таким образом с одной стороны лишила меня возможности всесторонне выяснить употребление назначенных на семинарии средств, с другой стороны воспрепятствовала мне разобраться в разных поборах, которые шли в пользу монашеских орденов и епископов.

Здесь я расскажу об одном случае, оставившем во мне самое приятное воспоминание.

На Ревельский магистрат была подана жалоба, обвинявшая его в растрате городских доходов. Павел, по первому впечатлению, приказал 8 департаменту сената поступить с виновными членами магистрата по всей строгости законов.

Многие сенаторы взглянули на этот указ, как на уже высочайшее утвержденное решение дела, так что нам оставалось лишь исполнить необходимые формальности. Я был сильно против такого взгляда и утверждал, что государь вверил производство этого дела нам и приказал поступить против членов магистрата со всей строгостью в том случае, если они окажутся виновными. После долгих споров к моему мнению присоединился и гр. Строганов, это воплощение человеколюбия и честности.

Того же мнения оказались ф.-д. Ховен и Кампенгаузен. После долгой борьбы с Соймоновым и другими мы наконец взяли верх. Доклад был составлен таким образом, чтобы действовать не только на милосердие государя, но и на чувство справедливости. При случае, когда Павел говорил со мною по поводу текущих дел в сенате, я решился сказать ему прямо: «Завтра 3 департамент будет взывать к милосердию и справедливости В.В.».

— За кого?

— За несчастных членов Ревельского магистрата, которые виноваты скорее по формальным причинам, чем по существу.

— Магистрат должен соблюдать формальности.

— Просим милосердия В.В.

Я был взволнован. Государь смотрел на меня пристально.

— Итак вы не признаете здесь злой воли?

— Нет, В.В.

— Хорошо, продолжал он удаляясь, посмотрим.

На другой день все получили прощение.

Неизвестно, по каким причинам Павел разгневался на гвардейский конный полк. Командовавший им гр. Пален исполнял все, что государю было угодно, но Павел все-таки был недоволен. С каждого парада он посылал под арест нескольких офицеров и наконец так разгневался на самого командира, что на другой день все ожидали его отставки. Но мало-помалу буря улеглась и Пален сам мне говорил: «Я вроде тех маленьких фигурок, которые ставят на голову и опрокидывают и которые тем не менее становятся на ноги». Легко понять секрет, при помощи которого он держался. Он никогда и никого не порицал, но и не защищал тех, на кого падала клевета, храня умное, но осуждающее молчание, или ронял какую-нибудь остроту, которая казалась только забавной, а на самом деле была очень опасной, так как при дворе насмешливость и напыщенность прощались труднее, чем настоящий порок, который прикрывался соблазнительной оболочкой. Таким образом он привязал к себе всех, стал любимцем придворной камарильи, честным людям казался не опасным и двигался потихоньку по дороге, которая должна была привести его к высшему неограниченному доверию.

Однажды император совершенно незаслуженно отправил на гауптвахту сына Палена. Он надеялся, что отец будет просить за него или выкажет по этому поводу раздражение. Но ничуть не бывало. Пален рапортовал спокойно и весело.

— Я сердит на вашего сына, — сказал ему Павел. — Он виноват.

— Наказав его, В.В. совершили акт справедливости, который научил молодого человека быть осмотрительнее.

Павел при его страшном стремлении к справедливости был в восторге от такого ответа. Он уже думал, что поступил с молодым человеком несправедливо.

Как сильно было в государе желание поступать с каждым по справедливости, показывает следующий случай. Однажды утром — это было, кажется, 10 ноября, меня будят в 6 часов и передают собственноручное письмо государя. Я вообразил, что дело очень важное, поспешно распечатал, посмотрел на подпись: «Павел». Вот что гласило письмо: «Господин тайный советник Посылаю вам несколько бумаг по жалобе бригадира Подлацкого на майора

Гермейера и объяснение последнего. Поручаю вам разобрать их взаимные обвинения и постановить решение по закону. Благосклонный к вам Павел».

Дело оказалось не важным, но запутанным. Я скоро разрешил его и когда доложил о нем непосредственно государю, он казался очень довольным. Не могу понять, почему Е.В. заинтересовался этими двумя никому неизвестными лицами. Но этот случай доказывает, с каким усердием Павел старался водворить законность.

Во время разговора по поводу решения этого дела, государь заметил, что я пристально посмотрел на крест Ла-Валетта который он носил на груди на золотой цепи. «Что это вы рассматриваете так внимательно?» «Знаменитый крест Ла-Валетта».

Зная, что я близорук, государь милостиво дал крест мне в руки, чтобы я мог хорошенько его рассмотреть. Вероятно, он бросил при этом взгляд на мой орден Станислава. Затем он удостоил меня разговором еще несколько минут, а потом обратился к другому.

Когда я на другой день явился в коллегию, генерал-прокурор прислал за мной секретаря капитула ордена св. Анны, говоря, что имеет мне кое-что сообщить по поручению государя. Я отправился в сенат, там сенатор ф. д. Ховен сказал мне, что генерал-прокурор просил явиться и его. Это приглашение нас обоих, переданное через секретаря капитула орденов, не оставляло в нас сомнение, что государь желает переменить наши польские ордена на русские.

Это подтвердил и генерал-прокурор, когда мы явились к нему.

— Е.В. повелел мне передать вам, чтобы вы сегодня ровно в 5 часов были в императорских покоях, где государь намерен пожаловать вам Аннинскую ленту.

— Позвольте князь, начать нашу благодарность с вас.

— Вы ничем не обязаны мне. Я даже не говорил об этом с государем. Е.В. изволил сегодня утром спрашивать меня, как это могло случиться, что у вас нет русского ордена, и прибавил: «Я их сегодня же пожалую». Так как барон ф.-д. Ховен находится в том же положении, то я воспользовался этим случаем, и государь пожалует вас обоих.

В 5 часов мы были уже на месте. Здесь мы нашли церемониймейстера гр. Валуева и еще несколько лиц. Император вышел сейчас же и подошел прямо к нам. Не говоря ни слова, он надел свою шляпу и обнажил шпагу. Обер-церемониймейстер, державший на золотом подносе два ордена, громко крикнул ф.-д.

Ховену, который как старший стоял от меня по правую руку: «на колени». Император трижды ударил его по плечу и возложил на него ленту, говоря: «Примите знаки этого ордена как доказательство моего благоволения». Затем он поднял его и обнял. Преклонил колена и я. «Это старый долг, — сказал император, — который я уплачиваю с удовольствием. Примите знаки моего благоволения и моего удовольствия, которые внушила мне ваша усердная служба».

Мы принесли государю благодарность, который удаляясь добавил: «Надеюсь встретить вас вечером на бале».

Мы, конечно, не преминули явиться вечером во дворец. Зависть и тщеславие довольно ясно давали себя знать, не смотря на холодные поздравления, которые нам делались по необходимости. У многих сенаторов этих орденов еще не было. Поднялся ропот, но потихоньку, чтобы как-нибудь не услышал Павел, который заставил бы замолчать недовольных. Тем не менее ненависть была. Скоро нашелся для нее и повод обнаружиться.

Процесс старейшин реформатской церкви разбирался в 3 департаменте сената. Почти единогласно было решено на основании слов указа 1778 г. утвердить решение юстиц-коллегии, чтобы спасти Головкина, Мансбенделя и Фюрса от строгого наказания. Только Соймонов и Стрекалов поддерживали мнение, что следует оправдать старейшин и пастора Мансбенделя по обвинению в оскорблении коллегии и кассировать все дело в виду формальных нарушений, допущенных при производстве процесса. Несправедливость и партийность такого мнения слишком били в глаза и другие сенаторы не могли присоединится к нему. Они полагали, что юстиц-коллегия, задетая таким решением, должна апеллировать к общему собранию сената, что я дол жен жаловаться непосредственно императору и обратить его внимание на докладную записку и содержащиеся в ней нападки на законную власть и что члены 3 департамента, которые открыто поддерживают их, должны быть устранены от должности.

Я, конечно, не присутствовал на заседаниях департамента, когда разбиралось это дело. Но я знал о всех подробностях, о которых был осведомлен и государь.

— Я знаю, сказал он однажды, что в 3 департаменте идут горячие дебаты. Но о чем?

— В. В, вопросы обсуждаются самым тщательным образом прежде, чем решаются.

— По какому делу возгорелись эти прения?

— По делу старейшин реформатской церкви.

— Я, кажется, имею честь быть с ними знакомым? Как их

зовут?

— Граф Головкин и купец Фюрс.

Я нарочно назвал графа Головкина тихо и поднял голос на словах: купец Фюрс. Император заставил меня повторить и воскликнул: «А, граф Головкин. Он хочет играть роль главы реформатской церкви».

— В.В., позвольте мне сделать маленькое замечание, он как старейшина этой церкви полагал, что защищает ее права. Но юстиц-коллегия уже отказала ему, он уже поплатился за свое заблуждение. По всей вероятности и сенат утвердит это решение.

— Но вы рискуете навлечь на себя неудовольствие польского короля, который с ними очень дружен.

— В.В., я вовсе не забочусь о неудовольствии против меня польского короля.

— Как так?

— Так как я никогда не пойду больше к его польскому величеству.

— Хорошо сделаете. Там образовался кружок ничего не делающих тунеядцев, которые забавляются тем, что все критикуют и анализируют. Я не хочу, чтобы польский король забывал, чем он мне обязан.

Эти слова император произнес очень громко, так что они были слышны не только Нарышкину, слышавшему весь разговор, но и многим другим. Я молчал.

— Граф Головкин, — продолжал император, — там тоже ораторствует. Я знаю все и хотел бы, чтобы и король польский знал об этом.

Черты его лица оживились. Я старался сохранять спокойное выражение. Но, чувствуя приближение бури, я страдал невыносимо.

Государь сказал еще несколько слов о короле польском и уходя промолвил, как бы в раздумье: «А, гр. Головкин!»

После ужина Нарышкин заметил мне мимоходом: «Я видел, как вы страдали при сегодняшнем объяснении. Мужество, с которым вы старались выгородить человека делает вам честь».

— Мне кажется, отвечал я, что государь ошибается и говорит о церемониймейстере гр. Головкине, тогда как дело идет о брате его Петре.

На следующий день в субботу я вышел из дому, чтобы присутствовать на заседании законодательной комиссии. Когда же я в воскресенье явился ко двору, генерал-губернатор гр. Буксгевден отвел меня в сторону и спросил:

— Знаете ли вы, что случилось с Головкиным?

— Нет.

— Император сослал его в его поместье за то, что он пошел против юстиц-коллегии, которой он подчинен в качестве старейшины реформатской церкви.

Буксгевден заметил мое горестное изумление.

— Досадно, что государь мотивировал свое решение, и теперь при дворе говорят, что этого удовлетворения потребовали вы, чтобы отомстить Головкину за его пренебрежение к вашей коллегии.

Я был в большом горе и, рассказав графу, как было дело, и обязав его словом распространять мои слова далее, я тотчас же уехал из дому. С такою же просьбой обращался и к графу Вельегорскому.

Целую неделю я не являлся ко явору, рассчитывая, что императрице и великим князьям удастся добиться прощения Головкина. Но скоро стало известно, что император отказывал наотрез всем, кто с ним об этом говорил. Я рассказал все подробности фрейлине Нелидовой и представил ей краткую памятную записку по поводу этого дела. Но он сказала.

— Я не сомневаюсь, что вы и ваша коллегия в сущности правы. Но при дворе судят по внешности, и эта история подняла против вас большой шум.

Несколько позднее, до меня дошло, что императрица говорила об этом деле, как о несправедливости со стороны коллегии. Я приказал изготовить для нее копию докладной записки на немецком языке, подписанной графом Головкиным. Не знаю, хватило ли у нее терпения прочитать ее, но меня уверяли, будто она нашла, что Головкин не умен, а я слишком строг. Но почему же только я один, а не все судебное место, в котором я имею только один голос.

Выходка императора быстро заставила Соймонова и Стрекалова переменить их мнение, и приговор коллегии был единогласно утвержден в сенате.

Наконец я решился снова появиться при дворе. Но государь уже не разговаривал со мною об этом деле и это помешало мне просить прощения для Головкина. Так как не позволялось говорить с государем о чем-нибудь, пока он сам об этом не заговорит, то я и лишился удовлетворения, которое так сладко было бы для моего сердца и поразило бы моих клеветников.

Как я потом узнал, государь еще утром, после моего разговора с генерал-губернатором, потребовал от него объяснения. Не смотря на все желание смягчить дело, Буксгевден не решился просить государя за Головкина. В указе значилось, что государь наложил на него наказание по докладе дела генерал-прокурором. В разговоре со мною Е.В. постоянно имел в

виду другого Головкина церемониймейстера. Чтобы выяснить себе, о ком идет дело, он, конечно, должен был говорить с генерал-прокурором, которому и был послан указ о ссылки Головкина.

Генерал-губернатор остзейских губерний прислал мне нужные сведения о гимназиях и школах, и проект семинарии для лютеран был почти готов. Неисправными оказались только епископы Каменецкий и Виленский, а князь Репнин писал мне, прося его извинить. Пришлось отвечать князю, который в свою очередь писал мне, что он намерен приехать сам в Петербург.

Как только князь прибыл, сейчас прицепился к нему архиепископ могилевский, имевший в виду устранить меня из департамента католических дел и самому сесть туда. Государю старались внушить, что его план основания лютеранской семинарии очень далек от исполнения, так как департамент ничего не смыслит в этом деле и исполнение его должно быть поручено духовенству. Эти нашептывания стали понемногу оказывать свое действие, и государь однажды спросил меня.

— Готов уже проект семинарии?

— Готов, В.В., в той части, которая касается лютеран и членов реформатской церкви, и даже переписан начисто. Но католические епископы еще не прислали мне нужных подробных сведений.

— Все идет чересчур медленно.

С этими словами он отвернулся от меня и больше со мной в этот вечер не говорил.

На другой день подошел ко мне в сенате генерал-прокурор и сказал: «Государь хочет освободить вас от неприятной обязанности».

— От юстиц-коллегии? — спросил я с радостью.

— Не от всей коллегии, но от департамента католических дел.

— Я чрезвычайно рад, князь… Столкновения без конца, постоянные доносы и все это ни к чему, ибо ни пользы, ни чести я не получаю. Мое положение сенатора выше, чем положение председателя коллегии, а я не пользуюсь ни добавочным содержанием, ни столовыми деньгами, как другие председатели.

В указе о моем увольнении было сказано: Католический департамент будет находиться под управлением архиепископа могилевского, а юстиц-коллегия остается на прежних основаниях. Так как подобная перемена была, очевидно, следствием интриги, то я сильно опасался, что все это плохо отзовется на лицах, которых я определил в католический департамент. С этого времени состав его стал смешанным. С одной стороны

архиепископ и трое духовных, с другой — вице-президент и трое светских членов. С первого же заседания обнаружился раскол между обеими партиями.

Внезапно скончался от удара король польский и император приказал похоронить его со всеми почестями, подобающими коронованному лицу. Страстно любя всякие церемоний, он приказал архиепископу служить со всею пышностью, которая допускается по обрядам католического вероисповедания. Систченцевич, хотя втайне и был враждебен апостолическому нунцию Литте, тем не менее, вступил с ним в соглашение с целью устроить погребение, как можно величественнее. Тело Станислава-Августа восемь дней покоилось на катафалке в Мраморном дворце под балдахином. Кругом были расположены знаки его королевского достоинства. Лица пяти первых классов должны были дежурить при гробе и сменять друг друга. Я чувствовал себя нехорошо и был освобожден от этой тяжелой обязанности. В день погребения архиепископ облачился в дорогие ризы и надел митру, на которой красовался шифр Павла I. Эта лесть произвела большое действие, и с этого момента император не знал, чем только выразить ему свое удовольствие. Он пожаловал ему андреевскую звезду и самым явным образом отличал его при дворе.

Вскоре умер и отец императрицы герцог Виртембергский. Император, конечно, не примкнул устроить и ему торжественные похороны. Архиепископу вторично представился случай блеснуть, и с этих похорон чувства государя стала разделять и императрица.

Не смотря на лицемерие, заносчивость архиепископа сильно давала себя знать светским членам департамента. Но относительно меня он соблюдал величайшую осторожность.

Освобожденный от обязанностей по католическому департаменту, я тем усерднее принялся за исполнение других своих обязанностей, в особенности же за составление свода гражданских законов. Первая часть, в которой вводился одинаковый процесс для всей Империи, была уже готова. Но государь, заметив неудовлетворительность русских уголовных законов, приказал комиссии безотлагательно заняться уголовным правом. Такое распоряжение было вызвано следующим случаем.

Несколько поляков были отправлены в крепость по обвинению в государственной измене. Император приказал разобрать это дело до самых мелких подробностей в полном собрании сената. Я не знал имен обвиняемых и у меня замирало от страха сердце, как бы не встретить среди них кого-нибудь из старых друзей и знакомых. По Польше революционная суматоха

свирепствовала не меньше, чем в Париже.

Одним из обвиняемых был ксендз Домбровский, брат генерала Домбровского, командовавшего во Франции польским легионом. Я знал его еще майором саксонской службы. Но с братом его, ксендзом, я не был знаком. Так как я не мог освободиться от суда по причине моего знакомства с одним из обвиняемых, то я решился держаться во время этого процесса подальше от сената. Но так как этого не было, то я надеялся оказать им все услуги, которые совместимы с присягой и моей должностью.

В сессии участвовало семьдесят сенаторов и почти все склонялись к тому, что поляки не виновны. Но их письмо к французскому правительству Директории, от которого они не отрекались, и клятва ввести с помощью Франции республиканское устройство в Польше, в которой они сознались, делали их спасение почти невозможным. Письмо это составлял Домбровский, который был главою этого тайного общества. Центральным местом, от которого шли нити с одной стороны в Литву, а с другой через Варшаву во Францию, был Львов. Правительства Австрии, России и Пруссии были вполне осведомлены о всем, что творилось. Но они пока не вмешивались, имея в виду раскрыть весь этот план и запастись сильными для закона доказательствами заговора. Имелось даже письмо Барса[9], который был в Париже агентом польской республиканской партии. Доказательств было даже слишком много. Все обвиняемые лично присягали императору. По букве закона все они были приговорены к лишению дворянства, наказанию кнутом и ссылке в Сибирь.

Между тем сенат представил государю доклад в 24 листа, где было указано на старость одного, молодость другого, ограниченность третьего и т. п. Все указания должны были возбудить милосердие монарха, так как служителя закона, покорные его букве, были призваны только к тому, чтобы установить преступный факт и приложить к нему закон.

Приговор был поднесен государю утром, а вечером он сказал мне:

— Я очень недоволен вами и другими сенаторами.

— Чем заслужили мы это несчастье, Ваше Величество?

— Как же вы не соразмерили наказание и постановили одинаковый для всех приговор!

— Позволяю себе доложить Вашему Величеству, что это вина русских законов, а не судей, которые, видя жестокость и недостаточность этих законов, могут только вздыхать. Но в силу своей присяги они обязаны только прилагать их к преступнику.

Иначе судьи сделались бы законодателями. Ваше Величество изволили уже заметить, что государственные законы нуждаются в более точной редакции и повелели нам заняться этим делом.

— Как же идет ваша работа?

— Первая часть законов гражданских уже готова.

— Займитесь тогда и уголовным правом и установите градацию, соразмерную с преступлением и карой.

Такова была жалостливость Павла, если его не раздражали и не сердили. Он изменил строгий приговор сената. Старика он сослал на родину в Литву без всякого наказания. Другие же отделались только страхом. Их ввели на эшафот и здесь объявили помилование, т. е. они были избавлены от наказания кнутом, а их ссылка длилась очень короткое время, благодаря смерти Павла и милости Александра, который всех их вернул в их отечество.

Глава III
В ожиданий падений

Точность в отношении годов я предоставляю хронологическим таблицам. Я далек от этой точности и буду говорить о вторичной поездке Павла в Москву, как об эпохе, когда управление получило совершенно другой отпечаток. Эта именно эпоха и была источником всякий нездоровых событий, среди которых вращался этот несчастный государь.

Со времени его возвращения из Москвы, его переменчивое и капризное настроение давало себя чувствовать все больше и больше. Им овладело постоянное беспокойство и заметно было, что он борется с самим собою. Его религиозные убеждения стали, мало-помалу, не так крепки, его приверженность к императрице превратилась в отчуждение от нее, его симпатия к фрейлине Нелидовой сменилась сперва равнодушием, а позднее и открытой враждебностью. Доверие его к Куракину и Буксгевдену внезапно исчезло и уступило место подозрительности и преследованиям. Граф Воронцов, граф Вельегорский, я и некоторые другие, которые представлялись ему партией императрицы, мы все, один за другим, были уволены и даже сосланы. Император, всецело попавший под власть своих страстей, не чувствуя никакой узды, которая могла бы помешать пли, по крайней мере, ослабить их взрывы, предался излишествам, до сих пор не слыханным.

Так как все эти факты явились результатом внезапной и резкой перемены идей и привычек императора, то будет совершенно естественно попробовать доискаться загадочных причин этой перемены. Я думаю, что я могу это сделать благодаря тому положению, которое я занимал, и связям, о которых я говорил в предшествующей главе.

При всяком дворе водится класс людей, безнравственность которых столь же велика, как и опасна. Такие низкие люди питают непреодолимую ненависть ко всякому, кто думает иначе, чем они. Представление о добродетели им совершенно чуждо, так как оно, между прочим, связано с уважением к законам, то все они соединяются в одну шайку против всякого честного и истинно просвещенного человека, который нередко ограничивается тем, что презирает их, забывая, что иногда он должен и бояться их.

Стремясь к богатству, эти злые люди пускают в ход всевозможные средства, чтобы добиться его. При этом высокое положение дает им больше средств для этого, обеспечивая им

безнаказанность. К должностям они стремятся исключительно ради выгод, о чем люди порядочные, конечно, не думают. Сильные своей злобой, они принимают свою хитрость за ум, безумную смелость преступника за храбрость, а презрение ко всему за знак своего духовного превосходства. Опираясь на такие мнимые достоинства, они, не смотря на свое ничтожество, стремятся со своим медным лбом к почестям, которые должны бы выпадать на долю только лиц, действительно оказавших услуги отечеству.

И в Петербурге оказалось несколько лиц такого закала. Не уважая друг друга, они тем не менее сблизились между собою, и принялись работать над удалением тех, кем они тяготились.

Орудием их интриг всегда бывали глупцы, которыми интриганы пользовались ловко и успешно. Чтобы привлечь их на свою сторону, они превыше меры стали возносить их честность и в то время, как действительно честные люди гнушались их общества, глупцы чувствовали себя польщенными ими.

Таким образом Кутайсов вдруг превратился в образец преданности. Приводились примеры его бескорыстия; ему приписывалась необыкновенная тонкость ума. Выражали притворное удивление, что император не сделает такого человека своим любимцем. Мало-помалу и сам Кутайсов уверовал, что его друзья правы, а затем дал им понять, что его недолюбливают и противятся его возвышению императрица и фрейлина Нелидова. Этого только и нужно было. Его стали подзадоривать еще более и дали ему понять, что от него самого зависит забрать императора в руки, приискав ему какую-нибудь особенно эффектную любовницу, которой он мог бы предварительно поставить свои условия. Вспомнили о девице Лопухиной и описали Кутайсову бывший в Москве случай. Тот обещал сделать все. Когда же ему нашептали, что и князь Безбородко также хотел бы освободить государя от опеки, которую наложили на него императрица, фрейлина Нелидова и братья Куракины, он принял окончательное решение и примкнул к заговору, не предвидя, конечно, его результата.

Москва принимала государя с воодушевлением. Так как сердце его от природы отличалось мягкостью, то проявление преданности и любви тронули его сильно.

В радостном волнении государь как-то сказал вечером Кутайсову:

— Как раскрылось сегодня мое сердце! Народ в Москве любит меня гораздо больше, чем петербуржцы. Мне кажется, что в Петербурге меня больше боятся, чем любят.

— Ничего нет удивительного.

— Как так?

— Не смею высказаться яснее.

— Приказываю.

— Обещайте мне, Ваше Величество, не передавать этого ни императрице, ни фрейлине Нелидовой.

— Обещаю.

— Ваше Величество, это зависит от того, что здесь вас видят в настоящем свете, добрым, великодушным, чувствительным. А в Петербурге при каждой вашей милости говорят: «это сделала императрица», или «это Нелидова», или Куракины. Когда делается добро, то делают его они, а когда нужно наказать, то это вы.

— Но… ты, пожалуй, прав… Говорят, кажется, что обе эти женщины держат меня в руках?

— Да, Ваше Величество.

— Ага, тогда я вам покажу, можно ли меня держать в руках.

С этими словами он в гневе приближается к столу и хочет что-то писать. Кутайсов бросается перед ним на колени и заставляет его употребить с обеими женщинами притворство.

На следующий день государь был на балу, где за ним неотступно следовала Лопухина. Она не спускала с него глаз. Император обращался ко всем, кто находился около него, как будто случайно. Но на самом же деле окружившие государя все принадлежали к той же клике, «Ваше Величество, — твердили со всех сторон, — она потеряла от вас голову». Государь заметил, что она совсем еще ребенок. «Скоро ей будет шестнадцать лет», — поторопились доложить ему.

Вдруг Павел приближается к ней и вступает с нею в разговор. Он находит ее забавной и наивной. Потом он говорит о ней с Кутайсовым, а этот устраивает все дело с мачехой Лопухиной. Они условились держать все дело в глубочайшей тайне и скрывали они от ее отца все условия этого тайного договора, который можно было привести в исполнение только в Петербурге. Нужно было вызвать туда отца и всю семью Лопухиных.

По возвращении в Петербург, Павел, хотя и скрывал свои тайные планы и даже осыпал подарками заведомых креатур императрицы, тем не менее несколько сорвавшихся у него слов обнаружили, что против Куракиных и императрицы существует целый заговор. Люди злые часто бывают нескромны и это, может быть, благодеяние природы, которая наделила звонками самых опасных змей.

Скоро интрига с Лопухиной вышла наружу, но все притворялись, что ничего не знают. Меня поразило обращение государя с супругой и фрейлиной Нелидовой, которого он не

скрывал. Я осведомился об этом у одного лица, близко знающего придворную жизнь, и получил ответ: «Это легкие облачка, дуются, но это скоро пройдет».

Больше всего меня поразило, что креатуры Безбородко стали подымать голос, стали постоянно получать отличия и резко критиковали финансовые операции генерал-прокурора. Его касса для дворян, действительно, была задумана неловко. Я решился указать ему на недостатки ее организаций, еще в то время, когда все говорили о ней с воодушевлением. А теперь я решился защищать его, так как злые языки приписывали ему низкие расчеты личной выгоды.

Подземные кроты чувствовали, что их коалиция только тогда может привести их к достижению конечной цели, когда им удастся овладеть постом генерал-прокурора и с. — петербургского генерал-губернатора. Поэтому они повели подкоп прежде всего под князя Куракина и генерала Буксгевдена. — Кутайсов привлек к заговору еще Палена и, зная, всех тайных шпионов императора, умел ловко пользоваться их услугами, чтобы невидимому совершенно естественным образом при случае расхваливать того человека, которого нужно было поместить куда следует.

— Странно, — сказал однажды в тесном кружке Павел, — ни о ком и никогда не слыхал я столько хорошего, как о Палене. Я был о нем плохого мнения, а теперь должен загладить эту несправедливость.

Под влиянием такой мысли Павел стал обращаться с Паленом все лучше и лучше. Мало-помалу льстивый, но как будто прямодушный язык Палена настолько очаровал Павла, что он стал считать его единственным человеком, пригодным на должности, где требовался верный глаз, живое усердие и безусловное послушание.

Как ни старались заговорщики скрыть свой план переменить всех окружающих императора лиц, но при множестве заинтересованных в нем лиц утаить его не было возможности, особенно от самого Лопухина, который был в Москве сенатором. Внезапно получил он приказание прибыть в Петербург, и это обстоятельство указывало на близкое развитие событий огромной важности.

Однажды государь обошелся с вице-канцлером кн. Куракиным так дурно, что тот даже заболел. Императрица хотела было замолвить за него словечко, но Павел внезапно обрушился на нее. Гроза прошла, но неловкость императрицы ускорила развязку. Когда до ее сведения дошло о прибытии Лопухиной и ее мачехи, она крайне неосмотрительно написала им угрожающее

письмо, рассчитывая тем помешать осуществлению их замыслов?

Письмо это было доставлено одним из заговорщиков императору, который впал в гнев, которого и описать нельзя. Он наговорил императрице невероятных вещей. С фрейлиной Нелидовой, которая пыталась ее защитить, он обошелся без всякого сожаления.

22 июля двор находился в Петергофе. Так как это был день тезоименитства императрицы, то мне пришлось отправиться с поздравлением. Император явно сердился на свою супругу и давал каждому почувствовать свое дурное расположение духа. Со мною он держал себя холодно и не промолвил ни одного слова. Фрейлина Нелидова казалась в глубоком горе, которое она напрасно старалась скрыть. Бал походил на похороны, и каждый предсказывал новую вспышку.

На следующий день Павел уехал в Гатчину и был там до 24-го, когда вдруг стали доноситься из Петербурга выстрелы из пушек. Так как войскам было запрещено производить учение после обеда, то государь спросил великого князя Александра: «Что значит эта канонада?»

— Это, вероятно, какой-нибудь корабль, который салютует крепости.

Скоро выстрелы стали явственнее.

Вне себя император посылает адъютанта в Петербург, чтобы узнать от гр. Буксгевдена о причинах непонятной канонады. Едва адъютант отправился в путь, как Павел отправил второго с приказанием Буксгевдену безотлагательно явиться в Гатчину.

Было 7 часов вечера. Только ночью добрался первый посланник до Петербурга. Буксгевден отвечал, что это артиллерийский генерал пробовал с его разрешения некоторые орудия. Он не мог отказать в своем разрешении, так как в прошлом году государь сам сделал исключение для артиллерии и это разрешение продолжает оставаться неотмененным.

Этот ответ был доложен Павлу в 5 часов утра, так как он приказал, чтобы ему сообщили его немедленно, в котором бы часу то ни было. Хотя он скоро забыл о причинах своей тревоги, тем не менее дурное настроение продолжалось.

На следующее утро в числе других генералов явился с докладом и Пален. Император велел позвать к себе Буксгевдена и лишь только тот вошел, как Павел осыпал его упреками за то, что он дозволил то, что им было запрещено. Буксгевден сослался на неотмененный прошлогодний приказ.

— Все это отговорки для того, чтобы прикрыть вашу нерадивость, я теперь это хорошо вижу, — сказал на это Павел. — Вы больше не с. — петербургский генерал-губернатор. Можете

идти.

Сейчас же был приглашен Пален.

— Я вверяю вам пост генерал-губернатора. Садитесь сейчас же в экипаж и отправляйтесь к Буксгевдену, чтобы принять от него дела.

Пален нашел ведомство в полном порядке и, как говорят, докладывая Павлу, он счел необходимых воздать Буксгевдену должное. Буксгевден как-то сказал мне:

— Я предвидел этот удар недели три тому назад и каждую минуту ждал его. История с канонадой была только предлогом.

Таким образом важнейшая после генерал-прокурора должность была теперь в руках заговорщиков и с этого момента начинаются одна за другой внезапные перемены.

Наконец, явился Лопухин, но один. Император сначала хотел назначить его генерал-прокурором, но тот настойчиво просил уволить его от этого. Тогда Павел предложил этот пост барону Васильеву, но тот наотрез отказался, так как, занимая весьма ответственное место по государственному Казначейству, не хотел увеличивать свою ответственность.

Постоянно раздражаемый против князя Алексея Куракина, Павел в конце концов приказал Лопухину занять его место без отговорок, пока здоровье будет ему позволять. Князь Куракин был переведен в первый департамент сената. Вице-канцлер, встречая дурное к себе отношение, также подал в отставку, но Павел, не любивший, чтобы его предупреждали, приказал передать ему, что он сам знает, когда его уволить.

С этого времени каждый день только и говорили, что об увольнениях. Но прежде чем вести свое повествование дальше, я хочу сказать здесь несколько слов об отношениях Литты к мальтийскому ордену.

Как известно остров Мальта 18 июня был сдан французам не столько по трусости ордена, сколько вследствие измены некоторых якобинцев. Когда весть об этом дошла до Петербурга, Литта быстро сообразил, какую выгоду лично для себя можно извлечь из этого позорного для ордена события. Английский двор, в высшей степени оскорбленный таким захватом французов, приказал своему послу лорду Витсворту вести дело вместе с Литтой, чтобы заставить Павла решиться на что-нибудь необыкновенное. Гомпета старались представить автоматом и трусом, который изменил ордену, сдав врагу без единого выстрела неприступную крепость. Павел возмущался позорной сдачей резиденции ордена, покровителем которого он только что себя объявил, и согласился на смещение несчастного гроссмейстера Гомпета.

С этою целью Литта заготовил протест и манифест, в котором обращался ко всем рыцарям ордена Иоаннитов даже прусским, которые были в это время в Петербурге. Прочитав письма, за подлинность которых он же и ручался, он сообщил собранию обе новости, и получил полное одобрение. Граф Вельегорский, которому дали знать об этих двух актах уже несколько дней тому назад, уведомил в свою очередь и меня, как рыцаря ордена. Я обратил его внимание на то, что такой поступок нарушает все законные, обычные даже при суде над преступником формы.

— Как, — воскликнул он, — хотят переломить шпагу над гроссмейстером, даже не выслушав его?

— Я уже сделал Литте такое возражение, но мне ответили, что там, где говорят факты, нет надобности в показаниях.

Все поведение Литты на этом заседании и все его ожесточенные выходки против злосчастного гроссмейстера обнаруживали его эгоистические, честолюбивые стремления. Правосудие спокойно, оно изрекает приговоры без гнева и поспешности.

Князь Безбородко, кн. Алексей Куракин, австрийский посланник гр. Кобенцель, гр. Вельегорский, гр. Буксгевден, прусский рыцарь ордена Иоаннитов, два французских дворянина, о которых шел слух, что они сложили с себя обеты ордена, два духовных лица из русских католиков и я — вот из кого составился верховный трибунал для суда над гроссмейстером.

Недействительность всей этой процедуры и насилие над всеми установленными судебными формальностями хотели прикрыть тем, что с обвинением и с декретом об отрешении гроссмейстера сильно спешили. А потому все дело потребовало не более получаса.

Чтобы провести членов ордена, принадлежащих к другим народностям и вынудить их на одобрение столь беззаконного поступка, добыли от государя особое объявление, в котором он обещал охранять орден вообще и каждого рыцаря в особенности. Сделав такой шаг, Павел уже не мог идти назад и быстрыми шагами двинулся вперед и пустил в ход всю свою власть, чтобы помочь исполнению замыслов Литты и лондонского двора.

Так как окружившим императора флибустьерам было известно, как нужно пользоваться его первым пылом, то они и постарались склонить истратить все сокровища России на орден, дух и организация которого не имели никакого отношения к политическому устройству Империи, Для чего нам орден Иоаннитов, когда для военных у нас есть орден св. Георгия, а для гражданских чинов св. Владимира? Для чего тратить три миллиона на бенефиции ордена? Для чего было покупать дорогое

роскошное здание, чтобы поселить там нескольких французов и итальянцев? Все эти прекрасные замки падают на второй же год его царствования, т. е. как раз на время его вторичного путешествия в Москву.

Кутайсову было тайно обещано, что он получит от ордена большой крест, тогда как он мог быть там только «служителем».

Император не удовольствовался тем, что он стал гроссмейстером суверенного ордена Иоаннитов, но объявил себя самодержавным сюзереном ордена. С этого момента всего можно было ждать и скоро все пошло вверх дном. Сделавшись заместителем гроссмейстера, Литта открыл торговлю почестями, отказался в конце концов от орденских обетов, чтобы иметь возможность жениться на вдове графине Скавронской, муж которой умер в Италии.

Настроение государя заметно становилось все хуже и хуже. Наблюдателей приводило в изумление, как он, не смотря на постоянные свои вспышки, умел притворяться и хитрить.

На последнем докладе князя Куракина он обнял его, хвалил его усердие, а на другой день уволил его от должности. Беспричинное недоверие заставляло его спешить с исполнением его планов и отправлять в ссылку всех, кого он удалял от себя без всяких оснований. Единственное хорошее качество, которое еще осталось в нем, была благотворительность.

Уволив Буксгевдена, император прогнал и честного адмирала Плещеева с беспримерной жестокостью. Он сослал его в деревню и приказал ему отправляться безотлагательно, хотя его жена только что родила. Вследствие этого он написал Павлу смелое письмо, и ему было позволено отложить свой отъезд до выздоровления жены. Воспитанный вместе с императором, Плещеев сохранил в себе мужество говорить ему при случае правду. Конечно, такой человек показался опасным. Его нужно было удалить как можно скорее, даже попирая законы человечности.

Все эти события отбили во мне охоту к службе и я охотно подал бы в отставку, но пример вице-канцлера удерживал меня. Оставалось дожидаться взрыва бомбы.

Буксгевден с тех пор, как был уволен от должности генерал-губернатора, сказался больным и не выходил из дому, твердо решив дождаться сентября и тогда просить полной отставки от службы. В это время он еще числился командиром полка. В одно прекрасное воскресенье я встретил у графини Буксгевден, кроме офицеров полка, несколько незнакомых лиц и еще одну личность, образ мыслей которой мне был известен. Рядом со многими хорошими качествами в графине было не мало и дурных, между

прочим она выбалтывала все, что думала. Так она позволила себе несколько необдуманных замечаний по поводу новых порядков. Так как она обращалась ко мне, то я возразил ей, что я не имею еще определенного мнения по этому поводу, что я умею только повиноваться… «И молчать», прибавила она. «Урок очень хорош и достоин вполне вашей политики, господин сенатор, но я женщина и говорю, что думаю». Я пристально посмотрел на нее и показал ей глазами на упомянутое лицо. Она угадала меня и продолжала довольно громко: «Я не хочу принуждать себя, так как я в кругу своих друзей. Неправда ли?» спросила она обращаясь к Ц. «Конечно, разумеется», отвечал тот, несколько смутившись, и затем через несколько минут исчез. Я последовал за ним и, вернувшись домой, рассказал об этом случае жене.

Дня через два графиня приехала к нам. Моя жена, которой нужно было выйти, не могла принять ее, но на следующий день поехала к ней. В передней она заметила приготовления к отъезду и увидала фрейлину Нелидову всю в слезах и саму графиню в страшном возбуждении.

— Как, графиня, вы уезжаете? — спросила жена.

— Стало быть вы не знаете, что нас изгоняют из Петербурга?

— Но за что же?

— Это неизвестно. К счастью мое имение находится всего в 30 верстах от Петербурга. Мне остается всего 24 часа, чтобы выехать из столицы.

Остальное можно, конечно, угадать: дамы, воспитывавшиеся в Смольном и связанные узами дружбы, пустились плакать и жаловаться.

— Я последую за моей подругой, — сказала Нелидова и удалюсь от двора!..

Рыдания не дали ей договорить.

Явившись домой, я узнал подробности. На следующий день мы посетили Нелидову, которая показала нам письмо, только что написанное ею императору, в котором она просила разрешения последовать за опальной подругой. Письмо было написано превосходно. На другой день император прислал весьма любезный ответ, в котором, однако, о разрешении и не упоминалось. Тогда Нелидова написала вторичное письмо следующего содержания: — «Считая молчание Вашего Величества касательно моей просьбы за знак согласия, я хотела бы воспользоваться им и уехать завтра». Вместе с сим просила графа Палена дать ей подорожную. Тот прислал подорожную с просьбою воспользоваться ею не раньше завтрашнего дня, а сам послал курьера в Гатчину, где находился император. Рассказывают, что получив известие о ее твердом решении, Павел в ярости

воскликнул: «Пусть едет! Но за это она поплатится!»

Пребывание государя на даче освобождало меня от необходимости быть около него так же часто, как и во время пребывания его в городе. Это обстоятельство для меня было просто счастьем. Под предлогом нездоровья я пропустил два праздника, и мне дали понять, что Павел замечает тех, которые уклоняются от посещений, хотя и делает вид, что он их не видит, когда они присутствуют. Все, казалось, надоело ему и тяготило его. Привыкнув с двадцати лет делиться своими мыслями и чувствами с Нелидовой, он оказался лишенным удовольствия быть в ее обществе и живо чувствовал эту потерю. Вместо прелести безграничного доверия зияла страшная пустота и Павел, жаждавший всегда общения, теперь должен был уйти в себя. Он был одинешенек, так как у него было довольно души, чтобы искать ее еще у тех, которые его окружали. Императрица, при всех ее добрых качествах, не обладала веселостью и любезностью, которую Павел нашел в Нелидовой. Его положение было несносно и он винил в этом всех, кто попадался ему на глаза. Его гнев обратился на одного из родственников Нелидовой. Генерал Нелидов, бывший адъютантом у Павла, неожиданно получил отставку точно так же, как его двоюродный брат Барятинский.

Императрица аккуратно писала Нелидовой и отправляла письма по почте. Сначала эти письма вскрывали, но потом перестали, так как в них не было ничего интересного. Тем не менее Павел был глубоко оскорблен постоянством привязанности императрицы, которая прежде, когда Павел был еще великим князем, преследовала ее, предполагая между ними связь. Его уязвленное самолюбие обратилось против императрицы. Достаточно было поговорить с ней раза два, три, чтобы подвергнуться удалению и опале. Гофмаршал граф Вельегорский, которому по должности приходилось часто быть около нее с разными служебными мелочами, однажды заговорил с ней о чем-то подобном. Заметив этот разговор, Павел наморщил лоб и сказал великому князю Александру: «Опять начал перемывать все». Великий князь бросил Вельегорскому взгляд, желая дать ему понять, что ему нужно удалиться. Вельегорский отошел от императрицы и приблизился к столу, за котором играли в бостон в нескольких шагах от императора.

— Посмотрите, — сказал Павел, — как он опять старается приблизиться на такое расстояние, чтобы подслушивать за нами.

Великий князь опять сделал графу знак, чтобы тот отошел дальше. Но тот стоял около игроков и не подозревал, что его подозревают в желании подслушивать за государем. Поэтому он продолжал оставаться на своем месте, ведя непрестанно разговор

с игроками с целью показать, что его внимание всецело сосредоточено на карточном столе. Тем не менее Павел в своем ложном представлении дошел до того, что, ухватившись за этот смешной предлог, он на другой же день вместо Вельегорского назначил Нарышкина.

Можно себе представить, как я был огорчен подобным обращением с человеком, который был украшением двора и которого я искренно любил. Он рассказал мне о том, что с ним случилось, и прибавил: «Я решился жить на покое. Дети и библиотека доставят мне гораздо больше удовольствия, чем всякие мелочи гофмаршальской службы».

Не прошло и трех недель, как Павел приказал графу отправиться в Вильну и не выезжать оттуда без его позволения.

Предвидя, что очередь дойдет и до меня, я вел дела юстиц — коллегии с такою тщательностью, чтобы генерал-прокурор мог каждую минуту произвести им ревизию. Между тем как в католическом департаменте архиепископ, гордый своей протекцией, допускал множество неправильностей.

Так гр. Феликс Потоцкий заплатил там 12 тысяч рублей за развод с женою, от которой имел десять человек детей. Процесс этот начался еще в то время, когда я был президентом, но я не давал своего согласия на развод. Но архиепископ, из любви к деньгам, рискнул на все. Бедная графиня не могла пережить этой неприятности и вскоре умерла. Хотя она была dame d'honneur императрицы и имела орден св. Екатерины, но на ее погребении едва набралось четыре кареты. А между тем она оказала услуги очень многим: сердце у нее было предоброе, но ум ее отличался наклонностью к сатире. Из любви к красному словцу, она иногда раздражала против себя людей, которые ей потом этого не могли простить. Графиня Пален, жена адмирала Кутузова и госпожа Рибас — вот и все, кто сопровождал ее тело до католической церкви.

Около этого же времени император вернул из ссылки гр. Петра Головкина. Явившись ко двору, он напустил на себя такую торжественность, что опять прогневил Павла, и тот через некоторое время отправил его в Кронштадт в качестве флотского капитана. Здесь он выкинул такую глупую штуку, что по морскому уставу его следовало бы разжаловать, но при помощи денег он успел выпутаться из беды. От его неудачных маневров пострадал другой капитан, и Головкину пришлось откупиться и заплатить за повреждение… Оба судна так плохо маневрировали в открытом море, что произошло столкновение.

Заметив, что Павел скучает, дельцы почувствовали необходимость его развлечь. Хотели дать ему в любовницы

французскую актрису Шевалье, а когда это не удалось, сочли необходимым держать около него человека, который мог бы развлекать его своими выходками. Нужно было выбрать человека без строгих принципов и притом такого, чтобы его заведомая злость тайно вооружала бы против него и двор и столицу.

Таким человеком оказался генерал Растопчин, недавно удаленный Павлом от двора. Получивший заграничное воспитание, он блестяще нахватался поверхностных знаний во всех науках. Он умел хорошо говорить, превосходно подмечал слабые стороны других и ловко их передразнивал. В составлении любовных писем не было ему равного. Он мог даже умно написать и деловое письмо, если при этом не требовалось ни подробного изложения, ни глубины мысли!

Павел знал его. Когда он был еще великим князем, он однажды выгнал его из-за стола, за которым он сидел в качестве дежурного камергера. При восшествии своем на престол он призвал его обратно, хотя и не чувствовал к нему приязни. Впоследствии он много раз показывал ему свое нерасположение, но так как он умел смешить его своими штуками, а император умирал от скуки, то Растопчин постоянно возвращался на прежнее свое место. Сверх всего Растопчин был личным врагом Нелидовой — еще причина, почему ему покровительствовали.

Его влияние быстро росло. Он знал слабые стороны императора, умел ловко льстить ему и осыпал своих противников сатирическими насмешками, выставляя их ничтожность и невежество.

— И прекрасно, — сказал однажды Павел, — это машины, которые умеют только повиноваться.

Но и Павел и Растопчин ошибались. Тот, кто не умел написать и двух строчек без ошибок, оказался хитрее их, как будет видно из дальнейшего.

Спокойный, кроткий и полный достоинства характер нового генерал-прокурора Лопухина был не совсем по вкусу Павлу, который стал чувствовать потребность разрушить то, что сам же он возвел. Переменить всех чиновников придворного ведомства и департамента иностранных дел, расшатать всю армию путем постоянного увольнения генералов и других высших чинов — все это стало казаться ему проявлением силы, которое должно было убедить всю Европу, что для него важны только строгие принципы порядка, справедливости и аккуратности.

Император внезапно объявил себя противником Франции и послал войска на помощь Австрии, вверив начальство над ними некоему генералу Розенбергу, человеку храброму, но совершенно не обладавшему военными дарованиями. На этот пост метил

Репнин и поэтому беспрестанно унижал Суворова, которого Павел недолюбливал и удалил от себя за то, что тот утверждал, будто можно выигрывать сражения и без солдат, при помощи одних гамашей, толстой косички и напудренных волос.

Назначение Розенберга всех изумило и привело русских в отчаяние. К счастью Австрия или точнее эрцгерцог Карл сумели вымолить для себя Суворова. Навел не решился отказать им и Репнин пустился на такие низости против Суворова, о которых я здесь не хотел бы и говорить. Расскажу лучше об одном характерном случае, который делает честь и человеку, имевшему мужество так говорить, и государю, который выслушал без гнева.

Император назначил генерала гр. Ферзена в кадетский корпус и подчинил его великому князю Константину. Тот не мог долго выдерживать остроумных шуток молодого великого князя и подал прошение об отставке. Павел спросил о причине, заставившей его просить об этом.

— Я слишком обидчив, Ваше Величество, — отвечал храбрый солдат. Ваше Величество желает знать правду. Простите, государь, но когда состаришься под богом войны, очень тяжело иметь и под собою и над собою детей.

Если бы около трона было побольше людей такого закала, то он стоял бы прочнее и государю меньше бы приходилось опасаться измены.

Усердно занимаясь вверенными мне делами, я с грустью видел, что составление уголовного кодекса не подвигается вперед. Спорили о словах, я жаловался на такое положение, как вдруг сорвавшееся у сенатора Колокольцева замечание осветило для меня все дело. Император приказал ввести смертную казнь. Состав окружавших государя лиц, а также и то, что день ото дня он сам становился все более недоверчивым и раздражительным, делали введение смертной казни в высшей степени опасным. Мои коллеги, без сомнения, боялись этого еще сильнее, чем я.

— Может быть нам удастся, — сказал Колокольцев, — закончить нашу работу очень скоро.

Я понял его и отвечал:

— Вы правы. Будем спешить тихо, чтобы не заслужить упрека в том, что мы вследствие поспешности плохо справились с своей работой.

Между тем доносы и аресты участились. Лопухин имел мужество не только защищать на суде тех, которые оказывались невинными, но давал удовлетворение и возмещение убытков тем, которые пострадали. Все сгибались перед ним с неизменной услужливостью с тех пор, как он стал генерал-прокурором и к нему собиралась приехать его дочь. А князь Алексей Куракин,

звезда которого закатилась, был покинут всеми и испытал лишь одну неблагодарность. Многие, которые теперь его избегали или нападали на него с яростью, были обязаны своим быстрым возвышением именно ему. Это возмутительное отношение сердило меня и хотя я ничем не был ему обязан, но продолжал бывать и у него и у гр. Буксгевдена. Однажды Пален сказал мне:

— Я видел вашу карету в такой-то улице.

— Я был у Буксгевдена, — отвечал я громко. — Пока он в городе, я буду его навещать. И чтобы не воображали, будто я скрываю это, я буду оставлять свою карету с моим гербом и выездным лакеем перед домом.

— Это не совсем мудро.

— Дружба старше, чем мудрость. Он ведь не преступник. Надеюсь, что и мои друзья не перестанут посещать меня, когда я не буду больше сенатором.

С Лопухиным я был настороже. Вице-президент Корф просил меня представить его генерал-прокурору, и я с удовольствием исполнил его просьбу. Он принял меня изысканно. Видя, что он завален работой, я сказал ему:

— Я слишком ценю труд вашего превосходительства, чтобы беспокоить вас на будущее время визитами. Я позволю себе являться к вам только по делам службы. Минуты, которые у вас отнимают, может быть заставляют вздыхать какого-нибудь несчастного, который ждет решения своей участи. Извините меня, если и мне когда придется поступить против этого заявления.

Он очень удивился такому языку и, казалось, был гораздо более рад такому сердечному тону, чем низкой лести, которой его осыпали и которою его думали поддеть.

Я сказал выше, что расположение духа у Павла становилось все мрачнее. Чтобы дать об этом наглядное представление, я расскажу один случай относительно графа Строганова, одного из самых осторожных людей, которые бы ли при дворе. В один прекрасный день он явился в сенат чрезвычайно грустный. Я отнесся к нему с живым участием и просил открыть мне причину его горя.

— Я изгнан из Павловска за то, что сказал государю, что скоро будет дождь. Вот как было дело. Императрица несколько дней больна лихорадкой и сырая погода для нее вредна. Три дня тому назад император задумал прогулку. Императрица, смотря в окно, сказала: «Боюсь, что будет дождь». «Как вы думаете?» — обратился ко мне император. — «Небо покрыто облаками, так что по всей вероятности дождь будет и довольно скоро». «Ага, — закричал Павел на этот раз, — вы все сговорились противоречить мне. Мне надоело переносить это. В особенности я замечаю, что

мы не сходимся с вами, граф. Вы никогда меня не понимаете, к тому же у вас есть обязанности в Петербурге и я вам советую отправиться туда». Я сделал низкий поклон, — продолжал Строганов, — удалился и приготовился к отъезду на другой день, но мне шепнули, что будет не худо, если я уеду сейчас, ибо император сказал будто бы: «Надеюсь, граф Строганов, понял меня».

Тяжело было старику. Он принадлежал к кружку Екатерины и пребывание при дворе обратилось у него в потребность. Он был придворным не по честолюбию или корысти, но вследствие тех машинных привычек, которые образуют вторую природу, вследствие чего придворный может умереть от тоски, если у него отнять право скучать при дворе.

За несколько дней до этого император отправил в ссылку статс-секретаря Нелединского, который был заменен Неплюевым.

Наш обер-прокурор Козодавлев из третьего департамента был переведен в первый. Его место было занято неким Дмитриевым. Превосходный человек этот Дмитриев. Когда он был еще гвардейским офицером, то его и его двух товарищей обвинили анонимным письмом в том, что они злоумышляли на жизнь государя. Генерал-губернатором в Петербурге был, тогда еще Архаров. Он представил письмо Павлу, который приказал арестовать всех троих. Через неделю, обнаружилось, что всю эту историю устроил уволенный лакей.

Убедившись в их невиновности, Павел приказал вернуть им шпаги во время парада. Обыкновенно при этом преклоняли в знак благодарности перед императором колени, а он обнимал коленопреклоненного и поднимал его. Дмитриев, однако, ограничился тем, что подошел к императору и сказал: «С позволения Вашего Величества, я не буду оскорблять вас своей благодарностью, ибо я не виноват, а потому со стороны Вашего Величества нет и никакой милости ко мне. Но так как ваша гвардия должна стоять выше всяких подозрений, то мне невозможно дольше здесь оставаться. Прошу Ваше Величество принять мою отставку».

Император был поражен достойным и вместе с тем почтительным тоном, которыми были сказаны эти слова. Он обнял Дмитриева и сказал:

— Я никогда не сомневался в вашей верности, это была только формальность. Мне было бы приятно, если б вы остались.

— Убедительно прошу Ваше Величество соизволить на увольнение меня. Я не вполне здоров, чтобы оставаться солдатом.

— Если вы непременно этого хотите, я увольняю вас. Скажите генерал-прокурору о месте, которое вы желали бы занять в

гражданской службе.

Таким-то образом он и стал обер-прокурором в сенате. На этом посту он проявил большую доброту, бескорыстие и тонкость чувства, которые редко встречались у обер-прокуроров.

Дмитриев известен в России и как ученый. Он любил ясность и точность и ненавидел запутанные фразы, полные кляуз и неискренности. Я чувствовал к нему большое влечение и так как он был немножко меланхолик, то мы сердцем поняли друг друга и через две недели беседовали между собою с такою откровенностью, которая — была бы опасна с чужим человеком, если бы внутреннее чутье не давало нам взаимного ручательства и не делало излишним дальнейшее испытание друг друга.

Он был единственный из русских в сенате, который соглашался со мною по поводу царивших в нем злоупотреблений. Все другие старались всегда оправдать их по предрассудку ли, или по другим низменным причинам.

Однажды, когда мы обсуждали одно довольно запутанное дело, Дмитриев хотел несколько смягчить С., который заявлял свое мнение более с упрямством, чем с умом. Когда же ему это не удалось, он сознался мне, что его положение как обер-прокурора для него несносно и что он хочет его сложить, не смотря на скромное состояние, которым он располагал. Он откровенно объяснил мне свое положение, я без всякого стеснения высказал свое мнение. Драгоценные воспоминания! Я никогда их не забуду.

В это время приехал в Петербург мой двоюродный брат, который управлял делами Палена в Курляндии. Он нашел, что наш дом убран довольно хорошо.

— Жаль, — сказал я, — что на это ушло много денег.

— Почему же жаль?

— Да потому, что скоро нам придется его оставить.

— Вы шутите, конечно. Пален мне сказал по секрету, что раз вы выдержали первый напор, то теперь уж вас оставят в покое.

— Ну, не верьте этому. Дойдет и до меня очередь и я уж к этому подготавливаюсь. Впрочем, мне будет приятнее вернуться на родину, чем видеть все то, что здесь творится.

На другой день после этого разговора был уволен вице-канцлер, князь Александр Куракин; с ним обошлись впрочем довольно вежливо. Ростопчин бросал свои взоры на это место. Он уже перешел с военной на гражданскую службу и был в министерстве иностранных дел. Но на этот раз его ожидание не оправдалось. Князь Безбородко, хотя и был очень болен, тем не менее, добился назначения на это место своего племянника Кочубея. Уход князя Александра Куракина не был потерей для департамента, ибо у него не было ни способностей, ни усердия.

Тщеславный, вечно занятый своим туалетом и бриллиантами, он знал толк только в музыке и женщинах. Холодный эгоист, он не делал никому ни добра, ни зла. Он прекрасно говорил по-русски[11], по-немецки, по-французски, обладал хорошими манерами, видной фигурой, но лицо его и тупая улыбка выдавали размер его ума.

Преемник его был способнее. Но должность вице-канцлера в такой огромной Империи, как Россия, была не по плечу и ему. Сначала он был камергером, потом его посылали в Константинополь, где он успел прочесть несколько книжек по вопросам политики и несколько подучился формальной дипломатической рутине. В связи с легкостью, с которою он мог писать официальные письма, это показалось достаточным для занятия такой должности, которая прежде была наградой за долгую и блестящую дипломатическую службу.

После того, как стало известно об отставке кн. Куракина, я заметил, что раздражение против Нелидовой снова овладело императором и притом в такой степени, что он хотел нанести оскорбление ей путем несправедливого отношения к ее друзьям. Я знаю, что скоро придет очередь и до меня, в виду нежной дружбы между нею и моей женой.

И в самом деле, 6 сентября, когда я только-что встал из-за стола, курьер принес мне следующую записку, писанную по-немецки рукою Палена: «Только-что получил приказание, о котором должен вам сообщить. Но дела не позволяют мне выезжать из дому, поэтому прошу пожаловать ко мне, чтобы вы могли принять свои меры. Преданный вам Пален».

На всех лицах появилось беспокойство, а жена стала спрашивать в страхе, что это значит. Я отвечал ей спокойно: «Пален хочет сообщить мне что-то о юстиц-коллегии». Приказав заложить карету, я отвел в сторону генерала Фромандьера, который обедал у нас, и сказал ему: «Подготовьте мою жену к известию о моем увольнении и к отъезду из Петербурга. Записка довольно ясна».

Когда Пален увидел меня, он выказал мне много доброжелательства, пригласил меня в кабинет и сказал:

— Не знаю, что могло так настроить императора. Он требует, что вы подали прошение об отставке.

Вот указ Палену, собственноручно написанный Павлом.

«Вы скажите тайному советнику и сенатору барону Гейкингу, чтобы он просил о своем увольнении, так как он всегда жаловался на свою болезненность. Одновременно он скажет генерал-прокурору название своего имения».

— Я в отчаянии от этой неприятности, — продолжал

Пален. — Вам приходится переносить и совершенно без всякой вины, ибо я знаю, что вы всегда служили государю усердно и бескорыстно… Но, что прикажете делать? Я также приготовился получить в один прекрасный день такой же комплимент. Может быть, меня прогонят без всяких церемоний.

— Я не жалуюсь на этот приказ императора. Я смотрю на него, как на милость, ибо для меня невозможно служить далее. Позвольте мне здесь же написать прошение, которого требует император. По крайней мере, ему будет оказано повиновение; а по спокойствию, с которым письмо будет написано, вы можете заключить, как я жажду вернуться в родную среду.

Он уступил мне свое место, и довольно скверным пером я написал прошение об отставке. Зная, что император любит мгновенное послушание, я моментально запечатал письмо и просил гр. Палена безотлагательно отправить его в Гатчину. Я заметил, как блеснуло удовлетворение в его глазах.

Прежде чем вернуться домой, я отправился к генерал-прокурору, чтобы объяснить ему, почему я не могу назвать ему своего имения (его у меня не было), и чтобы просить его похлопотать о сохранении мне прежней, полученной еще от герцога курляндского пенсии или, по крайней мере, о получении пенсии сенаторской.

Генерал-прокурора не было дома, и он должен был вернуться для того, чтобы сейчас же ехать в Гатчину. Поэтому я написал ему все, о чем не мог, сказать лично, и в ответ получил от него такое письмо: «Барон! Письмо, которое касается вашей отставки, я только-что получил, и спешу вам ответить, что я, намереваясь ехать в Гатчину, согласно вашему желанию представлю дело Его Величеству и употреблю все усилия, чтобы по возможности исполнить ваши желания. Имею честь быть Петр Лопухин».

Так как мои разъезды продолжались несколько часов, то я вернулся домой уже к вечеру и застал всех моих друзей в сильнейшем возбуждении.

— Успокойтесь, — сказал я с улыбкой, — император соизволил на то, чего я так давно желал; я счастлив, имея теперь возможность вернуться в отечество и освободиться от моей каторжной службы.

После этого я рассказал о всех вышеописанных обстоятельствах. Видно было, что на разных, окружающих нас лиц мой рассказ произвел вполне различное впечатление.

На другой день я послал сказать вице-президенту Корфу, что я не здоров, и через одного из моих коллег просил в сенате извинения за свое отсутствие.

На третий день генерал-губернатор дал мне знать, что

император соизволил разрешить мне ехать в Митаву, но отказал в назначении пенсии. Этот отказ заставлял опасаться, что отставка была дана в неприятных выражениях, так как император ввел три формы объявления об увольнении.

1) «По болезни увольняем мы его от всех должностей». Это давало понять, что после возможного выздоровления можно опять получить место.

2) «По его просьбе соизволили мы на увольнение».

3) «Такой-то увольняется».

13 сентября из сената был мне доставлен запечатанный конверт с бумагой следующего содержания:

«По высочайшему повелению его императорского величества государя императора правительствующий сенат сообщает тайному советнику сенатору барону Гейкингу именной указ за собственноручным подписанием государя императора, данный сенату 8 сентября в следующих словах:

«По прошению тайного советники и сенатора барона Гейкинга освобождаем мы его от всех служебных обязанностей. Павел».

«Вследствие сего сенат распорядился о настоящем, официальном извещении. 13 сентября 1798 г.».

Из этого видно, что император не терял ни минуты, чтобы меня уволить. Мое письмо, написанное 6 сентября, могло быть ему вручено 7-го, а указ помечен 8-го.

Вследствие моей отставки, я в тот же день отправился к Палену, чтобы получить от него паспорт. Он приказал изготовить его безотлагательно и сказал: «Я сейчас ate вечером передам об этом государю».

Жена моя осталась в Петербурге, чтобы продать дом, мебель и часть гардероба, который в провинции мне был ненужен.

Лишь у немногих лиц оставил я свои визитные карточки и поехал один. Впрочем, со мною был Ж. Ж. Руссо, любимый автор моей юности и постоянный друг всей моей жизни. Вследствие юридической деятельности я было забросил его, но теперь опять с наслаждением возвратился к нему.

Сознаюсь, Петербург оставлял я с болью в сердце, хотя я здесь постоянно недомогал. Но у меня были причины думать, что больше я уже никогда его не увижу. Погода была такая же пасмурная, как и мое настроение, и мысль, что весь день я принужден провести в бездействии, сильно меня угнетала.

Едва я завидел Митавский замок, как почувствовал в себе печаль или, правильнее сказать, ложный стыд. «Итак, говорил я себе, я возвращаюсь домой, заклейменный немилостью, которую, пожалуй, будут считать заслуженной. Прежде я из третьего

департамента посылал курляндскому губернатору и вице-губернатору указы, а теперь я в качестве простого обывателя буду получать их от них. Теперешний губернатор принадлежит к числу моих друзей, он знает двор, ежедневно имеет случай видеть его произвольные решения, которые он против воли должен приводить в исполнение. Надеюсь, что он поймет меня. Остаются еще мои враги — адвокаты и их клевреты. Но я смело встречусь с ними и постараюсь избежать и унылого вида и смешливой веселости». Чтобы узнать, какое впечатление произведет в городе мое появление, я решил провести, под предлогом нездоровья, несколько дней дома и вести себя возможно осторожнее и сообразоваться с данными, которые будут получены доступными мне средствами.

Глава IV
Во время ссылки

В Митаву я приехал в 8 часов утра и остановился в доме моего друга Дершау, так как мой был еще занят бароном Корфом, хотя срок найма уже истекал.

Прежде всего я написал письмо губернатору Ламсдорфу, чтобы поставить его в известность о своем приезде и извиниться, что по болезни не могу сделать ему визита. Он велел передать мне устно, что моя невзгода его очень огорчает и что он скоро сделает мне визит. И действительно он приехал ко мне, завязался длинный разговор, во время которого мы обнаружили и взаимное доверие, и одинаковое взаимное уважение. Я показал ему подлинный документ о моей отставке и он удостоверился, что император вовсе не заклеймил меня своею немилостью и что я принадлежу, следовательно, к числу тех, которые могут спокойно проживать в губернии. Этот визит был мне очень полезен и мало-помалу за ним перебывал у меня весь город.

Пробыв несколько дней у себя в кругу родственников и знакомых, я решился наконец выйти. Прежде всего я посетил губернатора и спросил его, не считает ли он нужным, чтобы я представился королю Людовику XVIII, к которому император относился в то время, как нельзя лучше. Он заставил его сложить с себя имя графа Де Лилль, принять королевский титул, окружить себя своей гвардией и принимать королевские почести. Ламсдорф был того же мнения, как и я. Решено было, что он представит меня на следующий день.

В воскресенье я отправился в замок, где я впервые увидел несчастного Людовика XVIII. Пройдя через последнюю приемную я встретил двух старых рыцарей св. Людовика со шпагами в руках, стоящих на часах. Когда мы вступили во внутренние покои, губернатор представил меня камергеру герцогу Де Вилькиер. Его рост — немного более высокий, чем у карлика соответствовал размерам его ума. Впрочем он был учтив и прямодушен. Через минуту появился Людовик XVIII и я должен сознаться, что этот государь внушал мне живейший интерес. Он хорошо говорит, обладает хорошими познаниями в римской, французской, итальянской и английской литературах. Память у него удивительная. Географию он знает, как никто. Менее понравился мне герцог Ангулемский, который имел смущенный вид и не умел сказать самой простой вещи, хотя, по-видимому, у него и не было недостатка в веселости. Герцог Де Берри отличался военной

осанкой и держал себя без принуждения и без чопорности. Мне показалось, что король предпочитает его своему старшему сыну.

Самым лучшим при этом бедном дворе показался мне сначала гр. Аварэ. Он спас Людовика XVIII и любил его страстно.

Граф Сен-При вместе с холодным высокомерием сохранил прежние манеры и претензии министра из Версаля и потому в Митаве был совсем не ко двору. Все окружавшие Людовика XVIII ненавидели его и открыто высказывали ему свое презрение. Да и сам король, как кажется, больше боялся, чем любил его.

Герцог Граммон показался мне прекрасным человеком с военной выправкой, герцог же Де-Флери мне не понравился своей легкомысленной манерой держаться. Несчастья его родины и его семьи, казалось, так мало занимают его, что подобное легкомыслие восстановило меня против него. Впоследствии я никогда не мог отделаться от этого первого впечатления.

Меня пригласили к столу и посадили рядом с герцогом Ангулемским, который отделял меня от короля. Против меня сидел старый кардинал Монморанси, который приводил меня в изумление своей звучной фамилией и крепостью своего желудка: он не ел, а жрал. Так как он был очень глух, то я не обращался к нему.

Лицо виконта д'Агу сразу же свидетельствовало о благородной и чувствительной душе. И это действительно так и было, в чем я имел случай убедиться позднее.

Беседа короля касалась разнообразных предметов и текла беспрерывна. После обеда он говорил о несчастной судьбе своего брата Людовика XVI. Он, видимо, растрогался и вынул из кармана последнюю записку, которую ему написала из Темпля королева.

— Из «Journal de Clèry» вы можете узнать печальные подробности, барон, — прибавил он.

— Прошу извинения Вашего Величества, я не знаю такого журнала.

Обратившись к какому-то высокому аббату, король поручил ему дать мне «Journal de Clèry».

— Не премину, Ваше Величество, — отвечал аббат Мари (ибо так его называл король) и прибавил: «Это был учитель герцога Ангулемского».

Людовик XVIII показывал мне также печать Франции, которую постоянно носил с собою его несчастный брат и в волнении сказал: «В мои руки она попала чудом и я придаю ей огромное значение».

Рассказ короля глубоко тронул меня. Заметив это, он сказал мне: «Я раздираю ваше чувствительное сердце: сообразите теперь, что должен был вынести я».

Его глаза наполнились слезами, он отвернулся и отошел к окну.

Какая философская поучительность для меня! «Как, думал я про себя, удаляясь из замка, мог я позволить себе сегодня утром роптать на мою судьбу, в то время как этот несчастный король изгнан из отечества, где его предки царствовали со славою почти тысячу лет, и теперь пользуется благодеянием государя, который так обидчив, непостоянен и неустойчив»!

Герцогиня Гише пригласила меня к себе на чай в 8 часов вечера. Сильно переменившись с 1785 г., когда я: встречался с нею в Версали, она имела однако здоровый вид и была еще привлекательна. Ее миленькая четырнадцатилетняя дочь не делала ее старше: мне даже казалось, что мать выигрывает при сравнении между ними. Чай подавали в фаянсовой посуде, самовар был медный, словом все указывало на недостаток средств, только грации не испугались нищеты и еще более усиливали привлекательность.

Через минуту появился и герцог Ангулемский с своим братом, герцогом Беррийским. Вечер провели очень, приятно. Герцогиня спела одну итальянскую арию, которая, впрочем, не повеселила меня. После этого она превосходно исполнила несколько французских романсов. Французское общество всегда притягивало меня к себе: можно себе представить мое счастье, когда я встретил в Митаве такое количество во многих отношениях интересных лиц.

Если в глазах благородных людей несчастье дает право на почетное место, то тем, кто сам только что претерпел несправедливость, несчастье другого придает только особую силу. При таком настроении каждый француз был для меня существом священным, и мне казалось, что настроение их вполне согласуется с моим собственным.

Большинство этих господ очень скоро отдали мне визит и прислали мне свои визитные карточки, за исключением аббата Мари, который принес мне «Journal de Clèry». Я был в восторге от этого аббата. Мы проболтали с ним около часу и когда расстались, то нам показалось, что мы давным давно знали друг друга.

Аббат Мари в разговоре проявлял и образованность, и пылкость. Он любил Бурбонов до обожания и со всей: присущей ему силой воображения всей душой ушел в политические замыслы, имевшие целью возвести на трон Людовика XVIII. Наш петербургский двор он знал превосходно: все анекдоты были ему известны, известна ему оказалась и моя история со всеми подробностями постигшей меня невзгоды.

На другой день я отдал ему визит и мы провели вместе около двух часов. Взаимное доверие росло и я только удивлялся, как хорошо он знал о Валене, Безбородко и о других влиятельных лицах. Так как он был доверенным лицом Людовика XVIII, то я не сомневался, что король прекрасно осведомлен о всем. В следующий вторник по несколько случайно брошенным королем словам я догадался, что он знает о нашем разговоре. Это обстоятельство установило идейную связь между мною и королем, которую понимал только аббат Мари.

Намереваясь как можно приятнее провести свое уединение в Курляндии, я принялся устраивать свой дом, в котором думал пользоваться дружеским обществом моих милых французов. В октябре стали давать себя знать морозы и я позаботился об отоплении дома. Я уже мечтал о том, как радостно свижусь я с моей женой, которая должна была скоро приехать, и сидел однажды за чтением моего дорогого Жан-Жака, как мне доложили о приезде губернатора Ламсдорфа.

Он был бледен и смущен. Я думал, что он болен и выказал по отношению к нему, свою заботливость, попеняв ему, что при своем слабом здоровье он в такой мороз выходит из дома.

— Не в том дело, — заговорил он со смущенным и деланным выражением лица, — мое здоровье не так плохо. Но я очень расстроен. Моя должность становится для меня невыносимой. Ужасно неприятно, когда приходится исполнять только одни неприятные поручения.

Эти слова бросили для меня луч света и, вообразив самое худшее, я спросил:

— Меня ждет фельдъегерь в кибитке? Куда он должен меня отвести?

— Дело не так плохо, но император приказал вам немедленно выехать из Митавы и до нового распоряжения остановиться в вашем имении.

Я прочел предъявленную мне бумагу, в которой было сказано только то, что Ламсдорф передал мне на словах.

— Что же я такое сделал, — воскликнул я, — за что меня можно наказать ссылкой?

— Не знаю. Может быть, вы что-нибудь написали?

— Можете ли вы думать нечто подобное о человеке, который долго служил в Петербурге?

— В таком случае нужно предполагать, что на вас взведена какая-нибудь клевета отсюда. Если рассчитать время отправки фельдъегеря из Петербурга, то окажется, что он был послан спустя час или два после прибытия почты из Митавы.

Поговорив еще несколько минут по поводу этого непонятного

наказания, губернатор поднялся и сказал:

— Вы знаете, что приказы императора должны исполняться в 24 часа. Не скрою от вас, что фельдъегерю приказано возвращаться обратно только тогда, когда он убедиться, что вы покинули уже Митаву.

Я вынул часы.

— Теперь четыре. Даю вам слово, что завтра раньше четырех часов я остановлюсь перед вашим подъездом в моем нагруженном чемоданами экипаже, чтобы попрощаться с вами. Вы можете приказать фельдъегерю сопровождать меня, пока я не выеду за пределы города.

Достойный Ламсдорф был глубоко тронут Он сильно боялся впечатления, которое может ссылка произвести на мою жену. Каждый невинный человек поймет мое положение. Легко сказать: невинность дает покой. Конечно это верно в смысле сознания своей правоты, но это не предохраняет от ударов, которые невозможно предвидеть.

Вся кровь бушевала во мне против низкого клеветника. Большими шагами ходил я по своей милой зале, которую предстояло покинуть, чтобы, может быть, умереть в изгнании, которое каждую минуту становилось все тягостнее и суровее. В самом деле, если меня могли без всякой причины выслать из города, то могли меня и арестовать в моем имении и даже перевести отсюда в крепость.

Я попросил зайти ко мне одного из моих друзей, чтобы сделать некоторые приготовления к моему отъезду и через него устроиться с моей корреспонденцией. К счастью мое имение находилось всего в полутора верстах от Митавы, вследствие чего я мог обеспечить за собою надежные и мало заметные способы для доставки мне корреспонденции.

Часть ночи я провел в приготовлениях к новому переселению и рано утром сообщил моим сестрам о происшедшей в моей судьбе перемене. Они вызвались провести со мною недели две в месте моей ссылки. Старшая со мною пожелала отправиться вместе со мною.

Мне было очень жаль, что моя жена еще не приехала. Мне посоветовали послать ей кого-нибудь навстречу, чтобы подготовить ее. Но так как это средство казалось мне не особенно удобным, то я решился ждать ее до 3 часов.

К счастью она приехала между 2 и 3 часами и чрезвычайно удивилась, видя, что мой экипаж нагружен чемоданами и, видимо, приготовился к отправлению в дальний путь.

— Я уезжаю в Бранденбург, — сказал я ей, — чтобы снова приняться за это имение. Управляя сами, мы можем получить

большой доход и, кроме того, — прибавил я, принудив себя улыбнуться, — каждую минуту нас может постичь ссылка, как это уже и случилось со многими другими.

— Мы, значит, сосланы, — воскликнула она, бледнее.

— А если бы даже и так, то какая разница будет для нас жить в 12 верстах от города.

— Так вот что мне старался дать понять генерал Бенкендорф!

Она рассказала мне о загадочном разговоре, который происходил между нею и генеральшей фон-Ховен и смысла которого она не могла уловить. Они, очевидно, подготавливали ее к плохим вестям.

— Оставайся здесь, — сказал я, ссылка тебя ведь не касается. Успокойся и приведи в порядок наши дела, чтобы можно было провести зиму в имении. Время уходит и я должен ехать.

Я уселся в экипаж и вышел у дома губернатора, где мой фельдъегерь с важной миной смотрел на часы, зрелище, которое заставило меня содрогнуться.

Я поручил Ламсдорфу свою жену и он обещал мне навестить ее, как только я отъеду на некоторое расстояние от города, и служить ей всем, чем только может. Я просил его передать мой нижайший поклон Людовику XVIII и выразить сожаление по поводу разлуки с теми господами, с которыми я был в дружественных отношениях.

Прошло еще часа полтора — и я увидел себя сосланным навеки в имение, которое отдано было в аренду и в котором я был всем чужой. Мое присутствие здесь терпелось лишь в силу высочайшего повеления.

Деревенская жизнь никогда не представлялась для меня привлекательной. Легко поэтому представить себе мое раздражение, которое меня ожидало здесь, куда я явился против моей воли и притом еще в то время, когда поля и леса, лишенные своего убора, представляли печальную картину умирания. Даже счастливый человек, если он только не имеет привычки, едва ли долго выдержит при виде этой лишенной красок печальной картины. Каково же она должна была действовать на мою душу, удрученную горем, и на тело, ослабленное столькими потрясениями. Через несколько дней моя жена приехала ко мне со свояченицей и, таким образом, нас стало человек 5–6. Неприятное положение, когда у себя же не бываешь хозяином, было для меня невыносимо. Поэтому я написал арендатору Кеттлеру и просил его уничтожить арендный договор, чему он был очень рад, ибо обкрадываемый своим управляющим он почти не имел никакого дохода от этой аренды.

Губернатор рекомендовал моей жене держаться как можно

замкнутее. Он предполагал, что император истолкует во зло необыкновенное участие, которое мне было выказано при моем возвращении. В самом деле все дворянство оказало мне огромную предупредительность и наш дом никогда не был пуст. Поэтому мы просили наших друзей не подвергать нас опасности и не делать нам визитов, которых нельзя было скрыть. Большую часть времени мы, сами того не замечая, проводили в напрасных попытках разгадать загадку, которая изменила мою судьбу.

Наконец, я получил давно жданный ответ на посланное мною надежным образом письмо к одному из моих друзей.

«Император впал в неудовольствие, узнав из письменного сообщения из Митавы, будто вы посещаете балы и общественные собрания и громко заявляете, что вскоре вы вернетесь ко двору еще с большим блеском. «Он смеет мне перечить», — воскликнул император. Хорошо, я зашлю его туда, где ему не перед кем будет хвастаться».

«Пален, который был при этом, не сказал ни одного слова в вашу пользу, между тем как Лопухин горячо держал вашу сторону и говорил так разумно, что совершенно смягчил гнев императора и тот сказал: «Напишите курляндскому губернатору, чтобы он отослал барона в его имение до нового распоряжения. Пален рассказывал обо всем одному из своих друзей, который вас недолюбливает, и был чрезвычайно удивлен участием, которое принял в вас генерал-прокурор. Будьте покойны, в скором времени все может перемениться».

Это письмо успокоило меня на некоторое время; но мне хотелось обнаружить автора письма из Митавы и я старался косвенным образом опровергнуть клевету, жертвою которой я стал.

Моим друзьям долго не представлялось случая писать мне с безопасностью. Наконец, в ноябре 1798 г. получил я одно письмо. Вот одно место из него: «Ваша болезнь огорчает меня больше, чем ваша ссылка, ибо в столице мы гораздо несчастнее вас. Мы только и видим перевороты и ужас нас охватывает нас всех. Бедный генерал фон-Ховен уволен потому, что его жена воспитывалась вместе с фрейлиной Нелидовой и всегда была с нею в дружбе. «Растопчин перешел на гражданскую службу в чине действительного тайного советника и назначен членом департамента иностранных дел. Пален получил Андреевскую ленту, а его друг Кутайсов орден св. Анны 1 степени с бриллиантами? Уверяют, что он будет украшен еще мальтийским крестом, ибо император с тех пор, как он сделался гроссмейстером, чувствует себя абсолютным властителем ордена»! 7 октября происходила комедия объявления Павла

гроссмейстером Иоаннитов. Он считался уже их покровителем, но этот титул более подходил к его императорскому достоинству. Все гроссмейстеры до сего времени выбирались из числа подданных других государей. Но Литта надеется, что ему, в качестве наместника, придется исполнять обязанности гроссмейстера и он таким образом может извлечь кое-какую пользу для себя.

«Между тем император своим торжественным указом от 23 ноября 1798 г. дал нам нового святого. Это монах Феодосий Толмский, тело которого было погребено в 1558 г. и обретено нетленным в 1796 г. Населяя небо святыми, а улицы Петербурга рыцарями, он воображает, что усиливает свою власть с помощью неба и надеется со временем быть самому на небе. Шайка продолжает выдерживать его в своих идеях и постоянно возрастающая пленительность их может наделать не мало вреда. Дризен только что назначен курляндским губернатором, он уезжает немедленно. Он может заменить Ламсдорфа, но не в состоянии заставить его забыть. Какая разница между тем и другим!»

Это письмо крайне огорчило меня. Я очень уважал Ламсдорфа и хотя знал и Дризена за хорошего человека, неспособного сознательно приносить вред; однако мне было известно, что он во время проживания в Курляндии, беспрестанно просил то пособия, то подарков и что на свой пост он не несет с собою репутацию отзывчивого, великодушного и бескорыстного правителя.

Лишь только он прибыл в Митаву, я поручил одному из моих друзей позондировать его насчет его намерений относительно меня. Мне было известно, что секретным распоряжением император поставил всех удаленных под надзор губернаторов. Дризен отвечал моим друзьям с таинственным видом: «Могу вам только сказать, что будет хорошо, если его перестанут навешать в его имении. Этот совет я даю не как губернатор, а как друг».

Этот совет убедил меня, что Ламсдорфа удалили только для того, чтобы иметь в Курляндии креатуру Кутайсова, которая действовала бы под руководством шайки, и что я, очевидно, значусь в таинственном списке лиц, которые должны быть «под присмотром».

Однажды вечером, расхаживая взад и вперед по комнате, я вдруг почувствовал слабость и упал на ближайший стул. Моя жена, испуганная моим обмороком, послала в Митаву за нашим врачом, но бедный старик был сам нездоров. Он явился только на другой день, и не смотря на его успокоительные улыбочки, я понял, что мое положение опасно. На следующую ночь со мной

сделались судороги, но, пролечившись дней восемь, я стал чувствовать себя лучше. Между тем наш доктор объявил, что по своей старости и по множеству у него пациентов он не может меня навешать так часто, как бы он хотел. Тогда я решился написать генерал-прокурору Лопухину выхлопотать у императора милость — позволить мне лечиться в Митаве. На это письмо я получил очень вежливый ответ с копией указа, данного Дризену. 28 января я получил официальное уведомление от губернатора и 2 марта опять был в Митаве, где моя жена уже заранее все приспособила.

В качестве больного я был избавлен от всяких визитов. Дризен получил орден св. Анны первой степени и я воспользовался этим случаем, чтобы сделать ему подарок. У меня была массивная звезда этого ордена отличной берлинской работы. Ее то я и послал к нему вместе с лентой. Это вызвало его визит ко мне и уверения в почтении и преданности. Он повторил мне совет видаться по возможности с немногими лицами, «ибо, — прибавил он сдавленным голосом, — мы окружены шпионами, и вы лучше всякого другого знаете, как действует император, если он на кого-нибудь сердит».

Поэтому я просил своих друзей не являться ко мне одновременно, но посещать меня поодиночке, чтобы было не так заметно.

Аббат Мари и другие французы явились ко мне с визитом утром, герцогиня Де-Гише и другие дамы вечером. Они посетили и мою жену, которая не была ни в ссылке, ни в немилости.

Общество в такой же мере содействовало моему выздоровлению, как и врачи. Но судороги у меня продолжались, я ослаб и стал нервным. Доктор посоветовал мне ехать в Карлсбад и при случае я решил переговорить об этом с Дризеном, тот обиняками дал понять, что это будет стоить около тысячи рублей. Я нашел, что это немножко дорого и так как многие из моих знакомых с успехом лечились в местном курорте Балдоне, то я снова обратился к Лопухину за разрешением отправиться на этот курорт. Разрешение это мог бы мне дать и Дризен, так как курорт находился в пределах его губернии. Но с ним трудно было иметь дело, так как он настаивал на буквальном смысле указа «разрешить лечиться в Митаве».

Лопухин немедленно ответил, что император дает мне разрешение и что он сам лично желает, чтобы мое здоровье поправилось.

Это было много для человека, впавшего в опалу. Бумага произвела сенсацию и уже думали, что она знаменует возвращение милости государя. Но такое мнение было ошибочно:

шайка слишком ненавидела меня и старалась держать меня как можно дальше.

— Новости из Петербурга гласили: Лопухин, которому стало в тягость его положение, настойчиво требовал отставки. Напрасно его и его дочь осыпали титулами и богатством: его душа возмущалась против несправедливостей, которые совершались вследствие неуравновешенности Павла и злобности тех, кто его окружал. Благоволение к Палену увеличивалось с каждым днем. Он был сделан графом, точно также, как его друг Кутайсов, которому дали звание обер-егермейстера с оставлением в должности гардероб-мейстера, чтобы прикрыть его прежнюю обязанность парикмахера, которая, однако, продолжала лежать на нем.

Г.М. проездом через Митаву уверял меня, что у Палена множество врагов. Особенно опасны для него генерал Архаров, который тоже получил графский титул, и генерал Кологривов, которые и не скрывают своей ненависти к нему.

Первый вышел из Гатчины и был превосходным артиллерийским офицером, неутомимо-деятельным. Император любил его, как собственное создание, но он отличался желчностью, был плохо образован и в военных кругах навлек на себя всеобщую ненависть. Второй был наездником, превосходно сидел на лошади и отличался красивой наружностью. Павел, считая его храбрецом, так как он бессовестно хвастал, быстро повышал его, чтобы назначить его командиром гвардейского гусарского полка. Боясь быть убитым, он приказывал ему спать с ним в одной комнате, и это обстоятельство сделало Кологривова настолько же наглым, насколько он был невежественен.

Этот Кологривов имел глупость сказать однажды грубость Палену. Не смущаясь мнимой отвагой своего противника или в полной уверенности, что он не будет иметь при дворе никакою успеха, Пален обошелся с ним крайне оскорбительно и осыпал его бранью. Такой энергичный язык заставил нахала замолчать, но с этого времени они симпатизировали друг другу еще менее, чем прежде.

Открытая вражда этих двух лиц пошла только в пользу Палена в тех кругах, которые ненавидели Архарова и Кологривова.

Что меня больше всего удивило, так это внезапная отставка Литты. Благоволение, которым он пользовался, казалось, гарантирует его от всяких нападок. Тем не менее, не смотря на его итальянскую хитрость и пронырливость, против него нашли средство и показали императору письма его брата нунция, который, не смотря на свое звание папского посла, был выслан за

границу.

Месяца за три до этого, на одном из парадов, император внезапно объявил во всеобщее сведение: «Фельдмаршал князь Репнин увольняется в отставку с мундиром». При всех своих хороших качествах князь Репнин обладал душой настоящего придворного — этим сказано все. Он был вне себя от этой отставки и писал всем, кто был в милости, но ни у кого не оказалось ни мужества, ни желания ему помочь.

Не могу умолчать о поведении Репнина по отношении к Суворову, когда тот получил отставку. Павел приказал объявить в дневном приказе, что «фельдмаршал Суворов, который уверяет, что в мирное время он бесполезен, увольняется в отставку». Так как император не упомянул о разрешении ему носить мундир, то старый фельдмаршал, получив приказ, велел выкопать у себя в саду яму в нескольких шагах от своих окон и поставить туда открытый ящик. Когда все было готово, он явился в полной парадной форме, со всеми орденами. Сбежались его слуги и окрестные крестьяне, среди которых только-что пронеслась весть о его увольнении. Приблизившись к краю ямы, Суворов начал снимать с себя ордена и, поцеловав их, бросил в ящик. Вслед за орденами последовала шпага, шляпа и мундир. Затем он запер ящик, облачился в крестьянскую одежду, которую держал наготове слуга, и громко сказал: «Фельдмаршала Суворова больше не существует; бросим в землю отличия, полученные им за свою службу, и похороним их».

Когда церемония окончилась, он начал опять: «Фельдмаршала Суворова больше нет, но жив еще Суворов, верноподданный Его Императорского Величества, чтобы молиться за своего государя». При этих словах он бросается на колени и начинает молиться за государя и отечество. Поднявшись, он обнял офицера, принял от него указ об отставке, поцеловал двух стариков из крестьян и сказал им: «Вы платите мне несколько тысяч рублей. Теперь мне эти деньги не нужны и вы будете мне давать рублей 500 в год на жизнь, этого для меня хватит». С этими словами он пустился в пляс и, прыгая, вернулся домой.

Выше я говорил, что общество французов оказало благотворное влияние на мое настроение, а, стало быть, и на здоровье. Поэтому мне следовало бы рассказать о прибытии в город супруги Людовика XVIII и madame Royale (сестры Людовика), которое обещало сообщить нашему городу особый блеск. Но день прибытия королевы ознаменовался неприятным скандалом, который имел очень грустные последствия для Людовика.

В то время, как экипаж королевы приближался в ряду других

к замку, все с изумлением увидали, что из вереницы их один отделился и направился прямо к дому губернатора. В этом экипаже сидела камерфрау королевы. Ей предложили сойти и показали приказ Людовика XVIII, в силу которого она должна быть отправлена обратно за границу с запрещением когда-либо приближаться к королеве.

Эта камерфрау подняла громкие вопли о вероломстве, как она выражалась, и рассказывала перед собравшейся толпою ужасные вещи про Людовика. В то время, как она обращалась к королю с целым потоком слов, королева заметила, что нет ее дорогой Курвилльон и с нетерпением спрашивала о ней. Тогда ей доложили, что ее августейший супруг считает эту женщину подстрекательницей и причиной возникших между ними недоразумений и потому счел за лучшее отослать ее обратно. При таком известии королева потеряла свою сдержанность, вышла из себя, решила сейчас же ехать обратно, жаловалась на вероломство и показывала подлинное письмо короля, где стояло: «Вы можете взять с собою Курвилльон, если вы считаете ее для себя необходимой».

Эта история сделалась злобою дня. Митавские якобинцы были от нее в восторге и забавлялись этим происшествием. Это меня возмущало. Я говорил с одним господином, который мне сознался, что король поступил неправильно, последовав совету С. Приста, который склонил его к такому некорректному шагу, который во всяком случае следовало бы смягчить. Между тем Курвилльон была отослана в Вильну и там поселилась в одном из монастырей с обязательством оставаться там до тех пор, пока король не решит окончательно ее судьбу. Оттуда она нашла случай написать императору, который приказал ей явиться в Петербург, где она яростно нападала на короля. Пока, впрочем, мы оставим ее в монастыре.

Едва прибыла madame Royale, как Людовик XVIII получил согласие императора на обручение ее с герцогом Ангулемским. Павел написал невесте любезное письмо и прислал ей в подарок бриллиантовое колье.

На торжество были приглашены все именитые люди Митавы. Я не решился туда отправиться, но моя жена была на этой церемонии. Насколько madame внушала всем симпатию к себе, настолько же капризное поведение королевы не нравилось никому. Она держала себя без достоинства и всегда была в дурном расположении духа. В день представления она не сказала ни с кем ни слова, так что никто из дам не хотел являться к ней во второй раз. Между тем в ее свите было несколько очень привлекательных дам: герцогиня де Серран с двумя дочерьми,

графиня Нарбонская, госпожа Дамас, которая скрашивала наше уединение и о которой я должен вспомнить с благодарностью.

Когда начался сезон, мы отправились в Бальдон, но недели через три бежали оттуда от скуки. Только что вернулись мы в город, как меня разбудили в 4 часа утра и подали письмо от моей племянницы, госпожи Тормасовой, следующего содержания:

«Я в страшном отчаянии. Император только что уволил моего мужа от службы и сослал в крепость Динабург. Мой муж сегодня ночью проезжает через Митаву, а я приеду сюда несколькими часами раньше. Я не оставлю его и, надеюсь, не совершат варварства и не откажут мне в разрешении разделить его участь, ибо он болен и его едва не разбил паралич».

Это неожиданное событие сильно подействовало на мои нервы, ибо я очень любил Тормасовых. Комендант крепости генерал Шиллинг, рискуя лишиться своего места, всячески старался облегчить положение ссыльного. Он позволил госпоже Тормасовой остаться при муже, а так как местный генерал-губернатор Бенкендорф был в близкой дружбе с Тормасовым, то комендант смотрел сквозь пальцы на все, что могло скрасить дни опального.

Невольно является вопрос, какое же преступление совершил Тормасов, если его подвергли столь суровому наказанию? Император поручил командование литовским дивизионом одному генералу, который был моложе Тормасова. Последний в порыве раздражения написал государю, что он готов исполнять приказы Его Величества, но не может служить под начальством младшего сослуживца и потому просит уволить его в отставку. Конечно, с формальной точки зрения он не прав. Но при всей его вине он не заслуживает однако тройного наказания: 1) у него отняли полк и генеральское достоинство, 2) отняли у него мундир и 3) заключили его в крепость.

Через некоторое время Тормасова выпустили на свободу, но приказали ему жить у себя в деревне. Так как у его жены было имение в Курляндии, то ему пришлось отправиться туда и проводить время недалеко от Митавы не без удовольствия.

Лопухин получил, наконец, отставку и на его место был назначен генерал Беклешов, бывший сначала рижским губернатором, а затем генерал-губернатором в Орле и Курске. Должность эта такова, что сила ее чувствуется во всей Империи и одинакова страшна как в Камчатке, так и в Петербурге.

Генерал-прокурор есть око государево, а прокуроры по всей Империи его помощники, которые обязаны не только смотреть за исполнением закона, но и тайно доносить своему начальнику о всем, что может касаться безопасности государя или управления

государством.

Выбор нового генерал-прокурора встретил повсеместно одобрение. Беклешов, будучи Лифляндским губернатором, стяжал себе репутацию честного человека, которую и сохранил за собою на всех должностях. Он свободно говорил по-немецки и хорошо владел французским языком, так что все были довольны, что с ним можно объясняться без переводчика.

Я знал Беклешова в Петербурге, но знакомство наше было поверхностное. Тем не менее я был очень рад этому назначению, будучи уверен, что он пойдет по прямому пути. Пален, отлично знавший его по Риге, хотел сделать вид, будто он способствовал этому назначению, но я из верных источников знаю, что император сам возымел эту мысль.

Фавор Палена и Растопчина увеличивался со дня на день. Последний получил в управление почту и пожалован Андреевской звездой. Через несколько дней Кутайсов получил орден Александра Невского.

Пока эти господа незаслуженно пользовались милостями государя и Суворов достиг высших почестей. 8 августа император пожаловал его титулом графа Италийского, а 26 издал приказ воздавать ему воинские почести, какие полагаются императору, хотя бы последний и был сам в столице. Великий князь Константин, который находился при победоносной армии, получил титул цесаревича.

Растопчин уже давно метил на должность государственного канцлера и исполнял его обязанности с тех пор, как был назначен членом департамента иностранных дел. Кочубей был уволен, а вице-канцлером назначен гр. Панин. Мы скоро увидим тайную побудительную к этому причину и убедимся, что все эти насильственные перемены, которые ставятся насчет Павлу, являются только следствием глубоко задуманной комбинации и такой искусной паутины, что для этого нужна была дьявольская ловкость.

Как бы сами собой пошли толки против Беклешова и так как он сделал вид, что не обращает на них внимания, то его опала была решена. Ему готовились тысячи неприятностей. Так как он имел смелость противоречить государю, когда тот пускался в юридические вопросы и хотел решать их без всякого разбирательства, то ему стали ставить в упрек его наставительный тон и медленное ведение дел?!

Павел заменил его генералом Обольяниновым, справедливость которого Пален превозносил до небес и о котором он говорил с уважением, когда, уже после смерти Павла, я приехал в Петербург. Тем не менее жалели и Беклешова,

несмотря на резкие манеры. Незадолго до своей отставки он был назначен курляндским вице-губернатором на место уволенного в отставку Гурко Арсеньева.

Фрейлина Нелидова заболела в имении Буксгевденов. Так как ей грозила опасность ослепнуть, то она просила у государя позволения вернуться в ее любимый Смольный институт, чтобы лечиться там у своего прежнего врача и вместе с тем просила за Буксгевдена, который хотел ехать с семьею за границу.

Император не только разрешил ей все это, но даже прислал за нею придворные экипажи. Возвращение Нелидовой сильно встревожило заговорщиков: они боялись возможных последствий встречи Павла и Нелидовой.

Тогда пущены были в ход все средства, чтобы отклонить императора от его намерения посетить его прежнюю больную приятельницу. Он уже начал совершать прогулки по направлению к Смольному, но Кутайсов, который в своей новой должности обер-шталмейстера всюду его сопровождал, сумел возбудить самолюбие Павла и таким образом помешал ему сделать первый шаг к сближению.

С другой стороны императрица заметила, что Павел колеблется и, очевидно, желает повидаться с Нелидовой, поспешила дать этому примирению напрасную торжественность. Она устроила блестящий вечер, на котором обещал быть и император. Шайка уже считала себя погибшей, и графиня Лопухина и Кутайсов старались вызвать у императора неприятное чувство, что он опять попадает в сети императрицы и Нелидовой.

Павел долго колебался и в 7 часов вечера послал сказать, что он не будет. Он сделал больше: он торжественно обещал Лопухиной никогда не посещать Смольного, пока там живет Нелидова.

Какие многообразные последствия, какие счастливые перемены мог бы принести один час разговора, при котором заговорило бы долго сдерживаемое желание задушевности и дружбы, которой была нанесена такая рана. Необыкновенная впечатлительность Павла ожила бы от воспоминаний старого, которое всегда действует так сильно и та цель деятельности, которую ему указала бы бескорыстная дружба, вывела бы его на правильный путь, с которого его постарались совратить.

Спустя некоторое время я был приятно изумлен визитом гр. Вельегорского, который проезжал через Митаву. Он сообщил мне, что опала с него снята и что он даже надеется опять поступить на службу. Эта новость доставила мне тем большее удовлетворение, что я видел здесь счастливое предзнаменование для самого себя.

Моя жена написала Нелидовой письмо, в котором

осведомлялась о ее здоровье. В ответ последняя, между прочим, писала: «Я поставила себе законом не видаться ни с кем, кроме подруг по институту и от этого твердого решения отступать не хочу». В самом деле она ни разу не приезжала в город и проводила жизнь в большом уединении.

Едва уехал Вельегорский, как явился ко мне старший сын Шуазеля с известием, что его отец и генерал Ламберт высланы. Он между прочим сообщил, что его отец собирается нас посетить. Моя жена была очень испугана этим посещением, опасаясь, что он наделает нам бед. Она просила его передать отцу наше извинение в том, что мы не решаемся принять его у себя, так как мы сами значимся в списки лиц, подвергшихся высылке.

Поведение императора относительно Шуазеля и Ламберта встревожило меня за участь Людовика XVIII. Я говорил об этом с аббатом Мари. Но все эти господа до того были уверены в благосклонности Павла, что я не настаивал на своих предостережениях.

В самом деле император предложил королю скрепить узы связавшей их дружбы и братства и принял орден св. Духа и св. Лазаря, прислав с своей стороны королю орден св.

Андрея Первозванного и крест ордена Иоаннитов. Король воспользовался случаем и пожаловал орден св. Лазаря Палену, Растопчину и Панину. С разрешения императора тот же орден был пожалован митавскому губернатору и генералу барону Ферзену. Везти в Петербург орден св. Духа было поручено аббату де Фирмон, а орден св. Лазаря г. Коссе. Оба они были осыпаны знаками милости. Де Фирмон говорил, что невозможно быть любезнее и привлекательнее, чем был Павел в беседе с ним.

Легко понять, что со стороны Людовика XVIII и окружавших его это было проявление новой угодливости, которая должна была увлечь Павла. Все питали твердую уверенность, которой я, однако, не разделял, о чем я со своей обычной прямотой и сказал аббату Мари. Но со свойственной французам учтивостью мне заметили, что вследствие своей личной неудачи вещи представляются мне в мрачном свете и что можно вполне полагаться на лояльность Павла и на поддержку Растопчина.

Между тем наступил купальный сезон. Мы отправились в Бальдон и встретили там бывшего генерал-прокурора Беклешова, бывшего президента академии художеств и бывшего посланника гр. Шуазель-Гуффрие, бывшего генерала Экеля и многих других бывших, которые все искали хотя некоторого облегчения своих физических немощей, и в этом находили единственное развлечение от своих нравственных страданий.

Несчастье сближает людей в особенности, если они испытали

одинаковую несправедливость. Деревенский храм Наяд служил для нас сборным пунктом. В начале разговоры шли о болезни и тщательно избегали взаимного сближения из опасения шпионов. И действительно, через несколько дней мы заметили две три подозрительные фигуры. Но было не трудно держаться от них подальше или направить их на ложный след.

Я был очень рад, что познакомился с Беклешовым поближе. Его открытое лицо, его простое, хотя несколько резкое обращение понравились мне. Не говоря про императора ни дурного, ни хорошего, мы толковали о разных мероприятиях и я не слыхал от него ни одного несправедливого приговора, хотя и не всегда был согласен с ним относительно некоторых лиц, насчет которых у него были свои предрассудки. Однажды разговор зашел о моем печальном положении и он сказал мне:

— Вы напрасно считаете его хуже, чем оно есть. У меня был список лиц, которые должны находиться под надзором. Могу вас уверить, что вы там не значились. И если делают вид, будто имеют относительно вас специальные распоряжения, то это просто уловки, которые позволяют в провинции, чтобы предать себе больше весу.

С этого момента он порассказал мне много интересного и я почувствовал к нему чувство истинного уважения, которое во мне не так-то легко возбудить. Он ни слова не говорил о Палене, но такое молчание объясняло все. Избегал он говорить и о Кутайсове, но когда произносилось это имя, презрение выражалось на его лице.

С графом Шуазель я виделся довольно часто. Мы вместе присутствовали, бывало, при дворе на малых выходах, вместе, бывало, там ужинали. Так как судьба наша была одинакова, то мы и беседовали между собою с полной откровенностью. В общем беседовать с ним было приятно, но в конце концов становилось ясно, что он очень образован, но не глубок. Он отлично усвоил несколько идей, бывших тогда в моде, но мало думал и мало размышлял. Его поверхностность сообщала ему светский лоск. Природа сделала для него все, но лень и удовольствие похитили у него слишком много времени и не дали ему возможности оценить как следует свои таланты. По возвращении из Бальдона я получил письмо из столицы, помеченное 15 сентября 1800 г. Велико было мое изумление, когда я прочел: «Пален только что потерял место генерал-губернатора, его сын, полковник конного полка, удален из столицы и в тот момент, когда я пишу, его экипажи стоят наготове. Он ожидает приказа присоединиться к своей дивизии, ибо у нас готовится война с Англией, вследствие чего начинается передвижение войск. Около Гатчины будут

большие маневры».

Через несколько дней мне снова писали: «Положение Палена лучше, чем когда-либо. На маневрах он командует одной армией, а Кутузов другой. Император вне себя от радости, что у него в армии два таких тактика. Он сделал им подарки и наградил офицеров и генералов, как будто была одержана большая победа.

Те, кто знает подкладку комедии, говорят, что войдет в силу Дибич. Он подкупил императора тем, что скрывал от него его малейшие промахи. Пройдоха-пруссак каждую минуту выкрикивал по-немецки: «О, великий Фридрих! Если б ты только видел армию Павла! Она выше твоей!» Этот льстивый энтузиазм совершенно покорил сердце императора. Умели очень ловко возбудить его воображение и направить его на какую-нибудь якобы справедливость, которую нужно было воздать нашим войскам, которые де все движения исполняют с величайшей пунктуальностью.

Ко всем своим должностям Пален присоединил еще должность Эстляндского, Лифляндского и Курляндского генерал-губернатора. Таким образом, его власть распространялась теперь на важнейшие вследствие своих гаваней провинции.

Дризен вдруг потерял свое место губернатора, на которое был назначен вице-губернатор Арсеньев. А его заместил прокурор Брискорн, переведенный сюда из Казани.

Англия снова отняла у французов остров Мальту. Павел потребовал, чтобы этот пункт пребывания ордена, которого он был гроссмейстером, был возвращен, но ему ответили, что так как император всероссийский выступил из коалиции еще до завоевания этого острова, то вопрос о его возвращении будет предметом суждения при выработке будущих условий мира и что до того времени Англия не может дать какого-либо положительного ответа.

Несмотря на мягкую форму, в которую Сент-Джеймский кабинет облек свой отказ, Павел впал в страшный гнев. Он сейчас-же распорядился (14 октября 1800 г.) конфисковать все английские суда, бывшие в наших гаванях, а затем (18 октября) распространил это распоряжение на всякие имущества и товары, принадлежавшие англичанам.

Насильственные меры вызвали необыкновенное возбуждение в Петербурге и в Риге, где были гавани с миллионным оборотом. Узнав об этом, я сказал своим друзьям: император затеял большую игру. Французские якобинцы, с которыми он обращается по заслугам, без сомнения, питают к нему особенную ненависть. И если теперь наши гавани закрываются для англичан, а их имущество подвергается секвестру, то нужно опасаться, что среди

людей, которые ввергнуты этим в нищету, найдется человек, способный на все.

Между тем окружающие Павла, казалось, с одобрением приняли подобную выходку. Гений Бонапарта заметил этот момент раздражения против Лондонского двора. Он сделал Павлу лестные предложения сначала через Берлин, а затем и непосредственно от себя. Бумага была составлена так ловко и исполнена такой тонкой лести, что Павел забыл свою ненависть к Францией стал сближаться с правлением, которое он только что гнал огнем и мечом.

Пален сделался главной пружиной во всех делах. Он предложил императору одну из самых рискованных мер, которая была как раз по вкусу Павлу.

— Вашему Величеству угодно было наказать исключением из армии весьма значительное количество офицеров. В этом числе, без сомнения, есть и такие, которые исправились и могли бы усердно нести службу, если бы им выпало счастье снова вернуться в армию.

— Вы правы, — отвечал император, — я их всех прощаю и разрешаю принять их немедленно.

Вот пример того, как охотно делал он добро и как можно было направить к добру его чересчур большую впечатлительность.

1-го ноября был издан манифест, в силу которого все отрешенные и исключенные из службы могли вернуться обратно, если только они не подверглись формальному судебному осуждению. Но в манифесте была прибавка, которая поразила всех мыслящих людей. Всем отрешенным и уволенным по всей огромной империи от Иркутска до Прусской границы было приказано явиться лично в Петербург.

Эта прибавка повергла в отчаяние тех, кому, при недостатке средств, предстояло совершить путешествие в 3–4 тысячи верст, а затем, пожалуй, и еще столько же и притом только для того, чтобы вернуться к своим прежним полкам. Было бы гораздо проще, если бы те офицеры, которые пожелали бы снова вступить в службу, являлись бы к военному губернатору своей губернии, а тот посылал бы их прошения ко двору и сообщал бы им, куда им следовало отправляться. Прибавка уничтожала все это добро, которое хотел сделать император.

И вот можно было видеть, как офицеры генерального штаба, многие с Георгиевскими крестами или с орденом св. Владимира, пешком или верхом на тощей лошади или в кибитках, тащились в Петербург. Многие должны были просить милостыню, чтобы добраться сюда.

Павел, конечно, мог устранить все эти затруднения, стоило ему только вдуматься в дело. Но это страшно изумило бы тех, кто посоветовал ему совершить этот акт благодеяния и без сомнения, лучше его знал о положении офицеров!

В самом деле, какой смысл был сзывать в столицу сразу огромное число недовольных? Разве не было заранее известно, что обратно примут не всех? Разве не следовало опасаться, что люди, ожесточенные нищетой и голодом, видя, что их вторично выбрасывают со службы, могут предаться всяким проявлениям отчаяния?

Теперь нет сомнения, что таким путем надеялись вызвать взрыв — замысел, достойный позднейшего злодеяния.

Между тем похвалы Палену переходили из уст в уста. Чтобы обеспечить всход сделанному им посеву, он разослал нескольким генералам, которые, по его мнению, были оскорблены более других, частное приглашение воспользоваться милостью императора.

Генерал Тормасов все еще находился в ссылке и не попал под общую амнистию. Он получил от Палена дружеский совет обратиться непосредственно к императору и действительно так и сделал. Когда ему было разрешено прибыть в Петербург, он представился Павлу, который почти не знал его в лицо и был приятно изумлен его манерой говорить и держать себя. Он назначил его инспектором кавалерии в Курляндии и Лифляндии и велел прикомандировать его к королю шведскому, который тогда ожидался в Петербурге. Император слишком отличил Тормасова и тем самым охладил с этого времени отношения к нему Палена. Впоследствии он перевел его на весьма опасное место командира конного полка, шефом которого был великий князь Константин Павлович.

Не буду рассказывать здесь, как Павел поссорился с юным шведским королем, который высказал большое хладнокровие и достоинство как раз в тот момент, когда Павел забыл, как он должен обходиться с государем, которого сам так долго приглашал в Петербург.

Генерал-прокурор Обольянинов добился от императора, чтобы оказанная милость была распространена и на военных. Многие из уволенных снова вступили на службу, в числе их и гр. Вельегорский. Он убеждал меня также просить об обратном приеме на службу или, по крайней мере, выразить желание снова вернуться на службу, и выставить единственным препятствием мою болезнь. Я последовал его совету и просил разрешение отправиться в прусский курорт Фрейенвальд. Проситься в Карлсбад или Теплиц было невозможно вследствие раздражения

Павла против Венского двора. 10 Декабря 1800 г. я получил в ответ, что время для отъезда выбрано неудачно.

Зубов, Волконский, Куракин, Долгорукий и множество других просили об обратном приеме и действительно все были приняты на службу. Но с некоторыми бедными офицерами обошлись очень сурово и император на смотру отказал им в их просьбе. Не объясняя причин, он, взглянув на просителя, ограничивался только тем, что говорил своему адъютанту: «принять», или «отказать». И в том и в другом предстояло выехать из столицы в течение трех суток. Этого срока было бы достаточно для какого-нибудь отчаянного человека, который в порыве гнева мог потерять власть над собою. Но провидению было угодно устроить все иначе и недовольные оставались верными своему долгу.

Между тем вся политическая система Павла вдруг подверглась перемене. Он сблизился с Бонапартом, который предлагал ему Мальту и возвращение русских пленных. Панин попал в немилость. Граф Карамон, присланный в Петербург Людовиком XVIII в качестве его посла, был выслан. Король подумал, что его посол впал в личную немилость у Павла и счел за лучшее спросить у него, чем граф мог навлечь на себя такое несчастье. Это письмо было очень ловко представлено Павлу как раз в такой момент, когда он был в очень дурном настроении. Не зная намерения Людовика, Павел в гневе воскликнул: «Он требует у меня отчета в моих действиях? Надеюсь, что он здесь еще не хозяин».

Только что он успокоился от возбуждения, как его снова раздражили, и страшный результат этого раздражения обнаружился 3–15 января (1801 г.). Генерал Ферзен получил от Палена бумагу, следующего содержания:

«Вы передадите Людовику XVIII, что император советует ему снова сойтись с его супругой в Киле».

Несчастный Людовик, как громом пораженный, написал Павлу трогательное письмо, которое заканчивалось такими словами: «не смотря на скорбь, которую он испытывает при такой немилости, он повинуется и ожидает только необходимых паспортов». Чтобы еще более раздражить Павла, готовность короля к отъезду постарались сделать в его глазах доказательством того, как мало ценил он убежище, которое ему так великодушно было предоставлено. Тогда Навел забыл священные законы гостеприимства и приказал сказать королю, которого сам же пригласил в свою империю, что если он желает получить паспорта, то ему их выдадут с условием, что он немедленно воспользуется ими как для себя лично, так и для всей своей свиты.

Этот страшный взрыв уничтожил французов, которые не ожидали подобной жестокости.

Граф д'Аварей не мог удержаться от слез и сам я плакал так же горько, как и он сам, плакал о позоре, которым покрыл себя монарх, которого я в глубине души продолжал еще любить.

Под влиянием недалеких людей губернатор Арсеньев решил, что высочайший приказ касается и лейб-гвардии короля. Стоило большего труда убедить его, что гвардия эта носит русский мундир и состоит на жалованьи у императора. Только благодаря таким разъяснениям он согласился предоставить старым служакам отсрочку до получения ответа из Петербурга. Но не прошло еще и 48 часов, как прибыл третий фельдъегерь с очень определенным приказом: «все без исключения французы должны уехать и притом возможно скорее».

Легко себе представить горе Людовика и особенно герцогини Ангулемской, которой император подал столько надежд при ее обручении.

Аббат Мари почти не владел собою: он передал мне через виконта д'Агу, что у него нет сил видеть меня.

К неслыханному бедствию присоединилось еще приостановка в выдаче обещанной королю денежной помощи, которая раньше аккуратно выплачивалась 1-го января. Между тем Пален еще 4 декабря писал Ферзену, что деньги будут выплачены сполна. Эстафета за эстафетой летела в Ригу, где, как, полагал вице-губернатор Брискорн, задерживали деньги вследствие какого-нибудь недоразумения.

Король, герцогская чета и наконец все, кто жил в Риге, хотели по крайней мере распродать с аукциона принадлежавшую им мебель и вещи. Но губернатор нашел, что не соответствует достоинству императорского дворца устраивать в нем аукцион, и запретил его очень решительно.

Узнав об этом, я, хотя мне и нездоровилось, поспешил к Арсеньеву и поставил ему на вид, что в Петербурге после умерших в казенных дворцах лиц чуть не ежедневно устраиваются аукционные распродажи. В конце концов удалось его урезонить, и он обещал мне дать соответственное разрешение. По через полчаса после меня явился Брискорн и испортил все дело. Я приказал сообщить во дворец о результате моих переговоров с губернатором, там уже стали готовиться к аукциону, но на другой день все переменилось.

С одной стороны отказывали в разрешении устроить аукцион, а с другой торопили отъездом.

Я был в негодовании от такого обмана, но скоро открыл причину столь несправедливого отношения: хотели принудить и

короля и свиту оставить их вещи, чтобы под каким-нибудь предлогом присвоить их или даже сделать вид, что они куплены на аукционе, на который-де никто не явился.

Тогда мы с некоторыми друзьями подняли шум и дали попять, что общественное мнение объясняет отказ в разрешении аукциона мотивами, мало похвальными. Это помогло, и распродажа наконец состоялась.

Никогда не забуду я отъезда несчастного Людовика и герцогини Ангулемской, на долю которых выпали все невзгоды злосчастной судьбы. Все эти храбрые кавалеры, которых принудили к отъезду среди суровой зимы, должны были бы идти пешком, если бы почтенные и сострадательные люди не сделали с своей стороны все возможное, чтобы облегчить им незаслуженные страдания.

Люди нашей среды вели себя по отношению к французам во всех отношениях безупречно и даже курляндские бюргеры, тронутые их судьбою, всячески старались им помогать.

Горестные сцены потрясли мои и без того расшатанные нервы.

После прощания с д'Агу и графом д'Аварей я был настолько расстроен, что на поправление понадобилось несколько недель.

Глава V
Конец Павла

Нужно было бы принять систему Мани, чтобы объяснить непонятное поведение нашего бедного императора за последние месяцы. Добро и зло следовали у него друг за другом. Доброта и варварство в один и тот же день диктовали ему самые противоречивые приказы. В ту самую минуту, когда все расточали похвалы какой-нибудь справедливой и мудрой мере, приходило известие, что все опять отменяется.

Чтобы разгадать эту загадку, я предложу читателю свою гипотезу. Он может, конечно, не принять ее, если у него мелькнет разгадка, более подходящая к характеру Павла. По моему мнению, каждый акт доброты шел от теплого чувства, а все то, что носило отпечаток жестокости, было результатом косвенного внушения, зависти, ненависти, желания показать самую верную преданность его особе и, воспользовавшись положением, ускорить кризис, который становился положительно необходим. Благодаря своему вероломству и хитрости, интриганы не видели другого средства обезопасить себя, как совершить преступление.

Но возвратимся к фактам. Те, кто не вникает в глубь вещей, были чрезвычайно довольны тем, что Румянцев и Державин снова были приближены, Нелединский из ссылки был возвращен в сенат и множество офицеров вновь вступили на службу. Но слишком уж крута была эта перемена, слишком многих без всякого различия захватила эта перемена, так что всякий мыслящий человек невольно должен спросить себя, ради какой тайной цели была предпринята такая удивительная мера.

Каким образом примирить нелепую смелость окружить себя недовольными с тысячами разных предосторожностей, которые свидетельствовали об опасениях и беспокойстве? Каким образом могло случиться, что Павел угрожал неминуемой войною англичанам, которые, по его мнению, составили против него заговор, в то же время взял себе в поварихи англичанку, которая жила почти рядом с ним? Если все адские замыслы и не удались, то во всяком случае они показывают настойчивость в осуществлении задуманного плана и объясняют непонятное поведение императора.

Значение Кутайсова, этого необходимого для коалиции человека, возрастало со дня на день, точно так же, как и Палена. Публика с неудовольствием смотрела, как простого камердинера сделали обер-шталмейстером и украсили орденом Андрея

Первозванного. Его любовница Шевалье приобрела огромное на него влияние и властно подчинила его себе. Вскоре она стала торговать местами, чинами и орденами: Весьма вероятно, что пришлось удалить Людовика вследствие ее интриг. Но в то время, как она покровительствовала французской партии, деятельно работала и другая тайная партия, партия английская.

Павел был в это время занят украшением своего Михайловского дворца. Стены были еще так сыры, что со всех сторон лилась вода, не смотря на то, что они были покрыты великолепными коврами. Враги старались уговорить императора не въезжать в новый дворец, но он обошелся с ними, как с глупцами, и тогда они пришли к заключению, что в нем можно жить. Этот дворец прежде всего должен был служить убежищем для государя против всякого покушения на него. Рвы, подъемные мосты, трудно проходимые коридоры, казалось, делали невозможной подобную попытку. Кроме того, Павел считал себя под непосредственным покровительством архангела Михаила, во имя которого была устроена во дворце церковь?

Императрица схватила простуду в своих сырых апартаментах, но не смела жаловаться. Великий князь Александр жестоко страдал ревматизмом, как и весь двор. Один Павел чувствовал себя прекрасно и только и занимался, что украшением своего нового жилища, не предчувствуя, что он станет для него могилой, у Он порвал почти со всеми государствами Европы. Растопчин был уволен за попытку смягчить письмо английскому королю, которое продиктовал ему Павел. Было ли это обстоятельство действительным поводом или только предлогом для увольнения. Пален получил пост директора почт и таким образом сделался хозяином всех государственных и частных тайн. С этого времени он получил возможность руководить по своему желанию, решениями императора[12], который действовал всегда по первому впечатлению. Непосредственным приказом губернатору он мог приостановить поездку всякого лица, кто бы то ни был, и, наконец, достиг такой власти, при которой все должно было удаваться.

Пален не терял времени. Он открылся Зубовым, которые сгорали от честолюбия и ненависти к Павлу. Он воспламенил мстительность князя Яшвиля, которого, как говорят, император однажды в минуту раздражения ударил; вооружил Чичерина, Талызина, Татаринова и др. Чтобы дать сильнее почувствовать необходимость заговора, нашли способ внушить Павлу страх перед его женой и великим князем Александром. Однажды, во время парада, он даже старался держаться подальше от своих сыновей. Дверь своей спальни, которая вела в покои

императрицы, он приказал заколотить.

Как ни старались скрывать все нити заговора, но об нем, по-видимому, проведал генерал-прокурор Обольянинов. Он косвенным образом предупредил о нем императора, который передал об этом своему любимцу Кутайсову. Тот пустился уверять, что это лживый донос, которым просто хотели выслужиться. Чтобы усыпить Кутайсова, Пален устроил ему в награду великолепное имение в Курляндии и советовал ему ни на минуту не разлучаться с императором, чтобы знать каждое его слово.

Вероятно, таким именно образом он узнал, что император приказал Аракчееву прибыть в Петербург в возможно непродолжительном времени. Боясь, что дело идет о его замене, он отдал секретный приказ чинить Аракчееву на пути всякие помехи и двумя днями ускорил исполнение своего замысла, в который посвятил и генерала Беннигсена. Тот являлся к Палену за паспортом и, вероятно, высказал свое неудовольствие на обращение Павла с офицерами. Пален воспользовался моментом, чтобы привлечь Беннигсена к заговору. После получасового разговора он возвратился в канцелярию и заявил, что паспорт ему теперь уже не нужен, так как он отложил свой отъезд на несколько дней.

Исполнение плана было назначено в ночь с четверга на пятницу. Но когда Пален явился с рапортом в понедельник, император сказал ему сердитым тоном:

— Есть у вас что-нибудь новое?

— Нет, Ваше Величество.

— В таком случае, я должен вам сказать, что что-то затевается.

Уткнувшись в бумаги, которые он держал в руках[13], Пален постарался овладеть собою и сказал с улыбкой:

— Если что-нибудь затевается, то я должен быть об этом осведомлен. Я должен сам быть при этом. Таким образом, Ваше Величество, можете быть покойны. Уполномочьте только меня арестовывать в случае необходимости всякого, кто бы он ни был.

— Конечно, я даю вам это полномочие, хотя бы то был кто-нибудь из великих князей или даже сама императрица.

— Соблаговолите, Ваше Величество, дать мне о том письменный приказ. Я уже выследил кое-что, о чем буду завтра иметь возможность представить Вашему Величеству положительные известия.

Император написал указ и Пален, не смотря на свое сильнейшее волнение, вышел с неподвижным, словно металлическим лицом. Тотчас же уведомил он заговорщиков, что

не должно терять ни одной минуты.

После того, как заговорщики овладеют Павлом, граф Зубов взял на себя объявить ему о необходимости отречься от престола, прочесть самый акт отречения и заставить Павла подписать его.

12 марта император поужинал в самом спокойном и веселом настроении. На ужине присутствовала и графиня Пален. По всей вероятности, она не знала о заговоре или же думала, что он будет приведен в исполнение не так скоро. Во время ужина Павел сказал:

— Мне снилось, будто у меня кривой рот, говорят, это дурное предзнаменование.

— Когда Ваше Величество проснулись, рот оказался на месте, — с улыбкой заметил Нарышкин[14].

Император засмеялся и разговор перешел на другие предметы.

В 10 часов государь по обыкновению удалялся к себе. В половине двенадцатого проходивший вдоль Летнего сада гвардейский батальон спугнул стаю ворон, которые взлетели с громким криком. Солдаты оробели и стали отказываться идти дальше. «Как, — вскричал тогда Уваров, — русские гренадеры, которые не боятся пушек, вдруг испугались ворон? Вперед! Дело идет о нашем государе!»

Эти двусмысленные слова сломили сопротивление солдат и они, ворча про себя, пошли за своими офицерами.

Другой отряд заговорщиков поднялся по маленькой лестнице в тот момент, когда Пален вышел на двор, где уже были выстроены два батальона гвардии. Он отослал гатчинца-офицера, приказав ему, в качестве генерал-губернатора, взять с собой двенадцать человек и арестовать Обольянинова, а двенадцать других послать к дому Нарышкина. Словом, он не переставал занимать караул исполнением разных мнимых приказов, не давая ей заметить событий, которые разыгрывались наверху.

Заговорщики[15] сначала запутались было в лабиринте дворцовых коридоров. Но Уваров, которому было известно расположение дворца, собрал их вокруг себя и повел через зал кавалергардов, которых Пален за несколько дней во этого ухитрился поместит подальше от спальни государя. Здесь его охраняли только два лейб-гусара, стоявшие у двери в спальню. Увидев, что Зубовы в сопровождении заговорщиков явились не в урочное время, они преградили им путь, хотя дежурный адъютант и объявил им, что они являются по специальному приказанию. «Не пропущу», закричал довольно громко один из гусар и стал грозить саблей. Человек 5–6 бросились на гусара. Тот был убит, его товарища убедили, что всякое сопротивление бесполезно.

Шум разбудил императора. Он встал в одной рубашке и не имея времени открыть дверь, ведущую к императрице, спрятался за ширмы. Вломившись, заговорщики бросились к постели и к ужасу своему не нашли там никого. Они кинулись обратно к двери и тут увидали Павла.

— Как, — яростно закричал он князю Зубову. — Разве я вернул тебя из ссылки для того, чтобы ты меня убил?

Зубов начал читать акт отречения. Тогда выступил Беннигсен.

— Ваше Величество больше не можете управлять двадцатью миллионами людей. Они делают вас несчастным. Остается, следовательно, только подписать акт вашего отречения от престола.

Кипя от гнева, император ответил отказом.

— Ты поступил со мною, как тиран, — вскричал тогда князь Яшвиль, — смерть тебе! — При этих словах на императора посыпались удары. Он был ранен в плечо, в голову. Затем заговорщики схватывают его шарф… лежавший около кровати и не смотря на отчаянное сопротивление… перо вываливается у меня из рук…

Павла уже нет в живых.

Пока все это происходило наверху, раненый гусар разбудил Кутайсова, крича:

— Спешите к государю, его убивают. — Тот сначала бросился наверх, но тут мужество его покинуло и в одних туфлях он убежал на Литейную, где жила Л., у которой он и скрывался.

Между тем Пален и Зубовы, не видя никого из заговорщиков, сильно волновались. Наконец те появились внизу и стали кричать: «Павел умер. Да здравствует Александр!» Пален и сопровождавшие его начальники подхватили этот крик, но солдаты безмолвствовали. «Стало быть, сказали им Уваров и Талызин, вы недовольны, что императором у вас будет Александр? Павел заболел сегодня утром и умер. Новый государь заставит вас забыть о его отце, который был чересчур строг».

— Он уже умер? — спросил Пален по-немецки своего адъютанта, который был внизу.

— Я уже об этом вам докладывал.

— Тогда я отправлюсь наверх.

Он направился прямо к графине Ливен, разбудил ее и сказал: «Идите к императрице и доложите ей, что Павел скончался от удара и на престол вступил Александр».

После этого он явился к Александру, разбудил его и, преклонив перед ним колена, сказал: «Приветствую вас, как моего государя. Император Павел скончался от удара». Великий князь громко вскрикнул и едва не упал в обморок.

— Государь, — продолжал Пален, — дело идет о вашей личной безопасности и о безопасности всей императорской фамилии. Благоволите скорее одеться и выйти, чтобы успокоить колеблющихся солдат. Здесь генерал Беннигсен, князь Зубов, и ваш адъютант. Они засвидетельствуют о смерти императора Павла. Пока же я отправлюсь к императрице.

Графиня Ливен уже разбудила императрицу, которая, увидев ее в ночном платье, воскликнула:

— Боже мой! Неужели заболел кто-нибудь из детей?

— Нет. Я должна сообщить вам еще более печальное известие. Скончался государь.

— Его убили! — воскликнула императрица. — Мне показалось, что я слышала шум и подавленные крики.

Графиня Ливен помогла ей набросить на себя одежду. Когда императрица хотела войти в комнату Павла, командовавший караулом Пален приказал не пропускать ее туда.

— Как, вы осмеливаетесь закрывать мне доступ в комнату моего мужа? — воскликнула императрица.

— Я делаю это ради Вашего Величества и императора Александра, которого вы можете скомпрометировать чрезмерными выражениями горя. Император Павел умер от удара.

— Хочу его видеть. Его убили.

И она стала умолять солдат пропустить ее.

— Запрещаю вам именем государя императора. — сказал им Пален, — пропускать ее теперь в первом порыве горя.

Он имел в виду выиграть время и дать возможность одеть убитого и уничтожить следы убийства. Павла одевали наспех; на лицо нахлобучили шляпу, а шею обвязали большим носовым платком.

Когда все было готово, стали поспешно рассылать приказания командирам полков и в губернии. К 5 часам утра собрался сенат. Полки приводились к присяге новому императору, а к генерал-губернаторам и к важнейшим европейским дворам были отправлены курьеры.

Генерал-прокурора Обольянинова арестовали, чтобы помешать ему действовать в пользу Павла. После манифеста Александра его освободили. Однако новый император сейчас же назначил генерал-прокурором Беклешова.

Известие о смерти Павла пришло в Ригу 15-го. Когда я на другой день сидел за столом, ко мне приехал один из друзей и сказал: «Важная новость. Павла уже нет в живых. Царствует Александр. Только что прибыл курьер».

Нечего и говорить, как встрепенулся я при такой новости,

хотя я уже давно предвидел и предчувствовал катастрофу.

На другой день пришел ко мне доктор… и рассказал подробности происшествия. Курьер оказался его старым знакомым и говорил, что заговорщики громко говорили по Петербургу о своих подвигах и хвастались ими, считая это актом справедливости, так как, благодаря им, настал конец страданиям 20 миллионов людей.

Полученное одним рижским купцом письмо из Петербурга подтверждало все подробности. Заговорщики были названы в нем по именам. На долю Палена отводилась главная роль в этой ужасной сцене. Вот чем отплатил он за все благодеяния и полное доверие, которые ему оказывал Павел!

Помилование, дарованное новым императором, и любезное письмо, полученное мною от Беклешова, подало мне мысль ехать в Петербург и хлопотать о моей пенсии, которая была у меня отнята вместе с должностью, хотя я всегда исполнял свои обязанности добросовестно и точно.

24 апреля я тронулся в путь с тем большим волнением, что здоровье мое расстроилось и сомнительно было, увижусь ли я еще раз с моими друзьями. Наплыв в столицу со всех сторон был так велик, что все гостиницы были переполнены. Никогда перемена государя не вызывала такого восхищения, как в этот раз. В столице была страшная суматоха, которая еще более увеличивалась вследствие ежедневного прибытия лиц, которые были в ссылке или в заключении.

Молодой император постоянно повторял, что он будет управлять по законам. Он особенно старался окружить себя людьми, которые были в силе во времена Екатерины. 15 апреля он отобрал у Палена почтовое управление и вручил его сенатору Трощинскому. Немедленно же уволил он и Кутайсова, разрешив ему уехать из Петербурга.

Он восстановил Тайный Совет и назначил в него фельдмаршала Салтыкова, двоих Зубовых, вице-канцлера князя Куракина, генерал-прокурора Беклешова, упомянутого выше Васильева, Палена, князя Лопухина, князя Гагарина, Кушелева и Трощинского. Он велел освободить всех английских матросов и решил остаться покровителем Мальтийского ордена, заявив при этом, что он предоставляет ордену выбрать себе другого гроссмейстера по соглашению с заинтересованными дворами. 2 апреля он уничтожил Тайную Канцелярию и в тот же день подтвердил данную Екатериной Жалованную Грамоту Дворянства.

Прежде всего я посетил Беклешова, который принял меня очень хорошо. Затем я благодарил Лопухина и т. д.

С трудом решился я ехать к Палену. Но наш Корф, бывший в то время в Петербурге, уверил меня честным словом, что Пален в разговоре с ним отзывался обо мне дружелюбно и с признательностью. К тому же он был курляндским генерал-губернатором и Корфу нужно было посетить его, если не как частное лицо, то как сановника. Он пригласил меня ехать вместе и в 11 часов мы отправились.

Комната, прилегающая к его кабинету, была переполнена генералами, членами департамента иностранных дел и вообще всевозможными сановниками. Нам сказали, что его превосходительство занят с посланником графом Разумовским, который должен возвращаться в Вену. Мы ждали добрых полчаса, пока, наконец, появился Пален. Те, которые стояли ближе к двери, окружили его сплошной стеной. Он выслушивал каждого, бросал слова два направо, слова два налево, но заметив поодаль стоявшего незнакомого мне генерала, двинулся к нему через почтительно расступившуюся толпу, прошел возле меня, видимо не заметив меня, и приблизился к генералу, с которым стал тихо разговаривать, обводя глазами залу. Наши взгляды встретились и, возвращаясь в кабинет, он остановился возле меня и сказал:

— Это вы? Как ваше здоровье? Вы имели несчастье попасть в опалу. Но я надеюсь, что теперь все поправится.

Затем он дружески обратился к Корфу, отвел его в сторону, чтобы поговорить с ним несколько минут, и возвратился к себе в кабинет, а мы всей толпой двинулись к выходу, довольные, что удостоились видеть героя дня.

Я следил глазами за Паленом все время, пока он был в зале. Мне хотелось поймать его взор и угадать его душевное состояние. Я рассчитывал заметить в его взорах глубокое волнение, а во всей его фигуре тот отпечаток, который выдает наблюдателю внутренний разлад, прикрытый напускной смелостью и развязностью.

Меня ужасало то обстоятельство, что новый монарх окружил себя Зубовыми, Паленами и др., которых общий голос прямо называл главными участниками последней трагедии.

Все эти господа, нисколько не стесняясь, во всеуслышание рассказывали о ней своим друзьям и знакомым. Сравнив рассказы стольких участников, очень легко было отделить в них то, в чем все сходились между собою, от того, что представлялось прикрасами и выдумками отдельных лиц.

Когда я однажды утром явился к Лопухину, он сказал мне:

— Я хотел бы, чтобы вы остались в Петербурге и вернулись в третий департамент, где теперь нет ни лифляндца, ни курляндца.

Прежде чем представить мою докладную записку по поводу

причитающейся мне пенсии, я прочитал ее зятю Палена, графу Медему, который жил у него. Тот обещал мне переговорить об этом с тестем, чтобы он не высказался против удовлетворения моего ходатайства на случай, если государь спросит его об этом. Граф Медем передавал мне потом, что Пален нашел мою просьбу совершенно справедливой и вполне умеренной и посоветовал мне войти в сношение с ним, как с курляндским генерал-губернатором.

С докладной запискою и прошением в кармане отправился я к Палену. На этот раз народу у него было немного. Когда он вышел из кабинета, я подошел к нему и сказал:

— «Генерал, граф Медем предупреждал вас обо мне» — и вкратце стал излагать ему свою просьбу.

— Пойдемте в кабинет, — отвечал он, — у меня есть полчаса свободного времени и я хочу поговорить с вами.

— Я знаю о всем, что вам пришлось вытерпеть, — начал он, как только мы уселись. — Но все это ничто в сравнении с теми ужасами, которые были проделаны над людьми, преступление которых существовало только в воображении или же состояло просто в неосторожности. Мы устали служить орудием такой тирании. Увидев, что его безумие возрастает со дня на день и превращается в манию жестокости, нам оставалось на выбор или освободить мир от чудовища или же в недалеком будущем принести в жертву усиливающемуся безумию и себя самих и даже часть императорской фамилии. Патриотизм заставляет отдать себя, жен и детей на лютые пытки, лишь бы дать счастье униженным, измученным, отправленным в ссылку, наказанным кнутом. Я его впрочем всегда ненавидел и ничем ему не обязан. Он мне дал только эти ордена, но и их я вернул обратно при восшествии на престол Александра. Но он велел мне сохранить их и я считаю, что я получил их от него. Услуга, которую мы оказали государству и человечеству, не награждается ни чинами, ни орденами, и я заявил государю, что я не приму от него никакого подарка. Граф Панин, разделявший со мною хлопоты, придерживался того же мнения.

— Я не знал, что граф Панин был при этом.

— Мы хотели только заставить его отречься. Первоначально у нас была мысль воспользоваться для этого сенатом. Но большинство сенаторов — дурачье, без всякой души и энергии. Теперь и сенаторы наслаждаются общим счастием, но у них никогда не хватило бы мужества сделать это доброе дело. Быть может, мы находились накануне еще более важного несчастья. Я поздравляю себя с этим делом, которое вменяю себе в самую большую заслугу, которую мне только пришлось оказать

государству, ибо здесь я рисковал моею жизнью.

Сказав вслед за этим несколько незначительных фраз, он снова вернулся к прежнему разговору.

— Меня удивляет, что императрица-мать в негодовании на меня. Она сама подвергалась огромной опасности и я оказал ей большую услугу. Я не требую, чтобы она отблагодарила меня за нее, но, по крайней мере, она должна ее чувствовать и не пытаться восстановить государя против меня. Она без сомнения виделась с Нелидовой. Я очень ее уважаю. Что она говорила с вами по поводу этого?[16]

— Я видел ее одну минуту и притом она была окружена, по крайней мере, дюжиною дам.

При этих словах он вынул часы.

— Прочтите, пожалуйста, мне вашу докладную записку: времени нам остается немного.

Я наскоро прочитал и заметил, что он слушал очень рассеянно.

— Отлично, отлично, — сказал Пален.

Он очень любезно проводил меня до дверей, но в лице его я уловил нечто такое, что выдавало, что он говорит не искренно.

Почти каждый день я ездил в Смольный к нашей хорошей знакомой полковнице Пальменбах и несколько раз видел там Нелидову. Встретив ее в первый раз, я был поражен происшедшей в ней переменой: волосы поседели, лицо желтоватого цвета покрылось морщинами и глубокая грусть отражалась на этом прежде всегда веселом лице. Только при третьем посещении я застал ее одну. Я заговорил о моей жене, о прошлом. Глаза ее наполнились слезами, когда я рассказывал ей, что мне пришлось вытерпеть.

— Несчастный государь, — воскликнула она, — вовсе не так виновен, как они его выставляют. Справедливо они оба так не любили этого Палена.

При этих словах ее лицо оживилось и это удивило меня тем более, что ее обычная осторожность доходила даже до притворства.

— Ему мало того, что он стал главою заговора против своего благодетеля и государя. Ему нужно еще поссорить мать с сыном, чтобы самому управлять государством в качестве первого министра. Но я сомневаюсь, чтобы и второй заговор удался ему так же, как и первый. Государь любит свою мать, а она обожает его, и не Палену, при всех его ухищрениях, разрушить эту связь.

Вышли две девицы и разговор на этом прекратился. В первый раз в жизни видел я Нелидову в гневе и без ее обычной сдержанности и осторожности.

Граф Вельегорский пригласил меня сделать вместе с ним несколько визитов. Отправились к Палену. Мы застали его играющим в карты с Валерианом Зубовым, Валецким и Чаплицем. Беннигсен смотрел, как играют. Лицо Палена вытянулось, когда он увидел нас. Но парой-другою острот гр. Вельегорский вернул ему хорошее расположение духа. По окончании игры мы оба остались у Палена. Там же находились секретарь департамента иностранных дел и два мне незнакомые господина.

Не знаю каким образом разговор зашел об императрице.

— Очевидно, — сказал Пален, — она совершенно напрасно воображает, что она наша государыня. На самом деле она, как и мы все, подданная государя императора и если она занимает первую ступень в подданстве, то я занимаю вторую. Мое стремление помешать всему, что может подать повод к скандалу и бунту, само собою разумеется, должно быть вполне искренно. Слышали ли вы историю с образом?

— Нет.

— Вот что произошло. Императрица приказала повесить в церкви нового Екатерининского института образ с изображением Распятия, возле которого стояли Мария и Магдалина с надписями, которые намекали на смерть ее мужа и могли возбудить чернь против тех, кто по слухам этому способствовал! Эти надписи привлекли в церковь уже немало народа, так что даже полиция донесла мне об этом. Чтобы не попасть впросак, я командировал ловкого и образованного полицейского чиновника в партикулярном платье, который скопировал эти надписи. Тогда я приказал священнику незаметным образом убрать куда-нибудь эту икону. Тот отвечал, что он не может это сделать без непосредственного приказания императрицы. И сегодня мне предстоит говорить об этом с государем, который завтра едет к матери в Гатчину. Я слышал, что она во что бы то ни стало хочет оставить образ на прежнем месте. Это невозможно.

Он еще несколько раз употребил относительно императрицы резкие выражения. При выходе, гр. Вельегорский сказал мне:

— Я теперь не узнаю Палена. Он умен, как курьер, чтобы не сказать хуже: как мог он сегодня так резко отзываться об императрице, да еще в присутствии свидетелей?

— Он, вероятно, воображает, что он пользуется такой благосклонностью, что может идти и против императрицы. Но он упускает из виду одно: императрица женщина, в ней много упорства, к тому же сын любит ее. Игра слишком не равна.

В четверг я поехал в Смольный. Проходя мимо крыльца Нелидовой, я заметил приготовления к отъезду в Гатчину. Я вошел и попросил рассказать историю с образом, которая

наделала большего шума и которая будто бы может возбудить склонные к беспорядкам массы.

— Я очень рада, — сказала она, — что вы пришли. Я могу вам рассказать все подробности, так как я была очевидицей всей этой истории и не раз держала этот образ в руках.

Один русский иконописец иногда приносил через императрицу образа в дар новому институту. Так как он не рассчитывал их продать, то императрица приказала выдать ему 100, а потом 200 р. После этого он стал являться слишком часто, и последний его образ Распятия императрица хотела было вернуть ему назад. На этой иконе Св. Дева обращается ко Христу со словами, а Он отвечает ей другими. Так как эти слова написаны были мелкими славянскими буквами, то никому в голову не пришло, их разобрать. Иконописец оставил икону камердинеру с просьбою обратить на нее внимание императрицы, так как он по бедности своей сильно нуждается. Икона около двух недель висела в комнате императрицы, которая, при отъезде в Гатчину, сказала: «Нужно повесить этот образ на виду. Нет ли тут кого-нибудь из моего ведомства?» Оказалось, что тут был барон Гревениц. Императрица позвала его и сказала: «Куда бы поместить этот образ?» «Один образ нужен в церковь Екатерининского института». «В таком случае, велите его туда повесить и скажите иконописцу, что по возвращении моем я его не забуду». Это вам может подтвердить весь двор императрицы.

Но Пален, которому нужно посеять вражду между матерью и сыном, усмотрел в словах на иконе такой смысл, который может вызвать бунт. Эта идея нелепа и преступна, если признать ее у императрицы. Нужно надеяться, что государь прикажет подробно разобрать это дело и даст удовлетворение своей матери, не рассказывайте этого никому, а главное не называйте меня.

В воскресенье вечером я получил от одного из моих друзей записку такого содержания: «В 9 часов Пален со всем семейством уезжает в Ригу. Говорят, он подал в отставку. Все едут к нему. Советую и вам сделать то же».

— Я не верю в эту поездку, — писал я в ответ. — Поезжайте сами, а потом расскажите мне, в чем там дело.

В 11 часов вечера получаю вторичную записку: «Он уехал. Притворялся равнодушным. Но он в отчаянии».

Все это казалось мне сновидением. Тем не менее я спокойно улегся спать и пожелал ему счастливого пути.

Часов 9 утра к гр. Вельегорскому зашло одно лицо, близкое к государю, и подтвердило о внезапном отъезде Палена.

Во вторник утром он принес государю жалобу по поводу иконы и его величество, раздраженный его резкими

выражениями, сказал:

— Не забывайте, что вы говорите о моей матери. Впрочем, это совершенно невозможно, что подписи были таковы, как вы утверждаете. Я сам осмотрю образ.

Пален сейчас же велел принести икону и показал ее императору, который, осмотрев ее, не сказал ничего и уехал в Гатчину, где потребовал от матери объяснения. Как он ни старался смягчить дело, императрице, однако, пришлось оправдываться в своих намерениях, а это было для нее весьма унизительно. В заключение своих объяснений она сказала:

— Пока Пален в Петербурге, я туда не вернусь.

Государь возвратился только в субботу вечером и не желая лично приказать Палену отправиться в Остзейские губернии, занимался с ним в воскресенье до обедни, а затем призвал генерал-прокурора и за час до обеда поручил передать этот приказ Палену.

— Я понимаю смысл этого приказа, — возразил он Беклешову, — и знаю, откуда он идет. Передайте Его Величеству, что я исполню его приказание сегодня в 8 часов вечера и выеду из Петербурга.

Он сообщил об этом приказе своей жене и сказал, что немедленно потребует полной отставки. Она также написала новой императрице письмо прося уволить ее от придворных обязанностей и дать ей возможность сопровождать мужа. Письмо Палена было помечено Стрельной. Его передали государю, как только он проснулся, и в тот же день на параде была объявлена его отставка. Таким образом, менее чем через 26 часов этот человек, считавший себя столь прочным и обладавший необыкновенным тактом и умом, ехал уже полным ничтожества в свое имение.

Наконец, и я решился ехать, не откладывая дела в дальний ящик. Двухмесячного пребывания в столице было совершено достаточно, чтобы вполне ознакомиться с системой нового курса. Мне удалось получить самые неоспоримые известия о совершенно другом характере нового царствования и мне, по крайней мере, оставалось то утешение, что мне не нужно было уже спрашивать чьих-либо указаний для того, чтобы предугадать дальнейшие шаги нового монарха.

Я вернулся в лоно своей семьи с двойным удовлетворением: я уже успел оценить прелесть независимости и досуга.

По приглашению генерал-губернатора князя Голицына и членов первых судебных курляндских установлений я принял участие в работах по преобразованию присутственных мест и составлению нового устава судопроизводства. Таким образом и

мой досуг пошел на пользу родине.

По окончании моей работы я издал ее в Кенигсберге под заглавием. Regimen monarchicum ab ipsa natura incorrupta ratione emanatum omnibus regiminis formis praeferendum suramatim demonstratur a. K.A. Ruttieniae Nobili.[17] Я посвятил этот этюд памяти Екатерины II. Буквы К.А. означают мое имя по-русски — Карл Александрович. Это все, что можно было сделать в то время, когда враги трона и алтаря имеют все больший и больший успех.

Как благословляю я провидение, удалившее меня из Петербурга задолго до грустного события. Если бы я как-нибудь случайно заметил хоть малейшие признаки заговора, то в силу присяги и по своим убеждениям, я был бы принужден открыть страшную тайну.

Многие смотрели бы тогда на меня, как на жалкого доносчика, и мои действия подали бы повод к клеветам на меня. Но так как я был далеко от места страшного происшествия, то я мог избегнуть всех неприятностей, не поступившись своими принципами.

Теперь, достигши тихой пристани, я посвящаю остаток своих дней дружбе, обязанностям и прелестям литературы, как советовал великий римский оратор: Aptissima omnino sunt arma senectutis artes exercitationesque virtutem quae in omni aetate cultae cum multum diuque vixeris, mirificos afferunt fructus[18].

Cic. d. off.

notes

Примечания

1

Прибыв во дворец, я увидел, что первые его комнаты покрыты черным. Кроме гр. Зубова, который не мог скрыть своего горя, все придворные, казалось, настолько успели забыть о государыне, как будто с ее смерти прошло лет двадцать. Между ними были и такие, которые были осыпаны милостями императрицы Екатерины. Эта низкая неблагодарность просто возмущала меня.

2

Донос этот был, по-видимому, результатом интриг против Мордвинова, известного основателя Одессы Де-Рибаса. Мордвинов обвинялся в злоупотреблениях по службе в Николаеве, где он был главным командиром черноморского флота и порта.

См. Иконников. Гр. Н. С. Мордвинов.

Прим. переводчика.

3

Даже Сиверс упоминает об этом: «В царствование Екатерины дела на заседаниях докладывал Вяземский, не обращая внимания на текущий их номер. Оттого ко времени восшествия на престол Павла надо было перевозить через Неву около 11 тысяч номеров». — (Ein russischer Staatmann).

4

Граф состоял при дворе с самого вступления Екатерины на престол. Как умный человек, он следил за всеми мероприятиями императрицы и так же хорошо знал тайные планы правительства, как и придворные анекдоты.

5

Иначе рассказывает дело со слов отца дочь адмирала Мордвинова гр. Н. Н. Мордвинова: «Отец мой по приказанию государя отправился из Николаева к нему в Петербург и ожидал себе лестного приема. Не доезжая заставы, когда было уже довольно темно, он в карете задремал. Вдруг слышит около своего экипажа топот лошадей. Вообразил себе, что это был знак почетной встречи. При самом въезде его в город, офицер подъехал к окну кареты и почтительно спросил, куда он прикажет его везти. Тогда мой отец удивился и спросил, что это значит, и получил в ответ, что по воле государя он арестован.

На другой день явился к нему посланный с объявлением, что назначена комиссия его судить, куда и просят его явиться.

Когда отец мой явился в комиссию, на столе лежала кипа бумаг, по которой ему делали такие странные и неясные вопросы, что он ничего не мог понять, в чем его обвиняли и просил доверить ему бумаги рассмотреть у себя, на что и согласились.

Приехав домой, отец мой раскрыл пакет, и маленькая записка, которая, вероятно, по нечаянности была тут, разъяснила ему все дело. Едва он успел прочесть ее, как прискакал посланный из комиссии, требуя от него бумаги поспешно обратно. Он закрыл пакет, вручил его посланному и сказал: «Возьмите, мне больше ничего не нужно: я все понял».

На другой день явился к нему кн. Куракин и, проливая слезы, уговаривал его просить прощения у государя. Отец мой отвечал ему: «Никогда я этого не сделаю, потому что ни в чем не признаю себя виновным; но знайте, князь, что если я даже буду сослан в Сибирь, и оттуда бойтесь меня».

Отец мой, не быв виновным, оправдался, и враги его не достигли своей цели. Но зная неустрашимую откровенность его и любовь Павла Петровича к нему с детства, уговорили государя не призывать его к себе, будто бы по той причине, что он может по горячности своей сказать что-нибудь неприятное и тем подвергнуться немилости. Государь согласился не видать его, подарил ему при этом тысячу душ, предоставив выбор имения, где он пожелает, и уволил его от службы». (Воспоминание о гр. Н. С. Мордвинове. Спб. 1873).

6

Его хотели вытеснить из департамента внешних сношений и потому назначили президентом этой коллегии. Но он написал императрице, что он никогда не занимался юриспруденцией и не может принять этого поста. Вследствие этого он получил лишь звание председателя, но обязанностей его не исполнял.

7

В коллегии иностранных дел председателем в это время был великий канцлер и сенатор гр. Остерман; в военной коллегии — фельдмаршал и сенатор гр. Николай Салтыков; в адмиралтейской коллегии — гр. Чернышев, в коммерц-коллегии — сенатор Соймонов.

8

Крест этого знаменитого гроссмейстера сохранялся в сокровищнице Мальтийского ордена, как драгоценный памятник.

9

Этот Барс был адвокатом в Варшаве по курляндским делам. Он был человек умный, но честолюбие вскружило ему голову и он стал играть некоторую роль в политике со времени резни наших войск в Варшаве, в апреле 1794 г.

10

Этот Дибич был адъютантом Фридриха II. Так как он знал малейшие подробности жизни великого короля, то Павел решился подражать ему в самых смешных мелочах и кончил тем, что стал обо всем судить с точки зрения Фридриха.

11

Нужно помнить, что в те времена нередко попадались вельможи, не умевшие сказать на родном языке и нескольких фраз. *Прим. пер.*

12

Таким путем ему удалось спасти Кутайсова, которого император вдруг решил удалить от себя. Императору обыкновенно представляли извлечения из депеш иностранных послов, которые вскрывались прежде, чем разрешали вывести их за границу. Устроили так, будто шведский посланник писал своему правительству: «Плохо осведомленная публика воображает, что император собирается уволить своего верного Кутайсова. Но Его Величество слишком умен и понимает, конечно, что по силе его привязанности Кутайсова некем будет заменить». Обманутый этой хитростью, император обнял Кутайсова и удержал при себе. Об этом случае Пален рассказывал в присутствии 7–8 лиц, в числе которых находился и я.

13

Большую часть этих подробностей я слышал из уст самого Палена. «Если бы Павел приложил руку к моему сердцу, говорил он, то он открыл бы весь заговор. Но мое лицо оставалось веселым и я спасся, благодаря бумагам, которые были у меня в руках».

14

Я слышал об этом от графини Пален и графини Ливен. Они рассказывали об этом в моем присутствии одному из своих друзей и при том именно в этих самых выражениях.

15

Это были князья Зубовы Платон и Николай, Беннигсен, Талызин, Уваров, князь Яшвиль, Аргамаков, Татаринов и Гарданов. Валериан Зубов и гр. Пален благоразумно держались на дворе.

16

Этот вопрос показал, что вся наша продолжительная беседа имела целью разузнать о том, что думает лицо, близкое к императрице.

17

Рассуждение о том, что монархическое правление, основанное на самой природе и здравом смысле, следует предпочитать всем другим формам правления. Русского дворянина К.А.

18

Самое удобное оружие против старости занятие искусствами и упражнение в добродетели. Ими нужно заниматься во всяком возрасте. А когда проживешь долго, то они приносят удивительные плоды. Цицерон.